PT 40
P 88

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

РТ
40
Р88

РУССКАЯ РЕЧЬ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Л. В. ЩЕРБЫ

НОВАЯ СЕРИЯ

III

Д. Н. УШАКОВ. Русская орфоэпия и ее задачи.
В. В. ВИНОГРАДОВ. О слове «ахинея» в русском литературном языке.
Л. А. БУЛАХОВСКИЙ. Из жизни омонимов.
Б. А. ЛАРИН. О лингвистическом изучении города.
Г. ВИНОКУР. Глагол или имя?

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1928

Напечатано по распоряжению Отдела Словесных Искусств ГИИИ

Председатель Отдела *В. Жирмунский.*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

965594

Обложка работы
В. П. БЕЛКИНА

Ленинградский Областлит № 15211. Тираж 2100—6 л. Зак. № 1994.

Гос. тип. изд. „Ленинградская Правда". Ленинград, Социалистическая, 14

РТ
40
Р88

Д. Н. УШАКОВ

РУССКАЯ ОРФОЭПИЯ И ЕЕ ЗАДАЧИ

О правильном произношении

Содержание. Орфография и орфоэпия—буквенное и звуковое обличья литературного языка. Условность понятия «правильное произношение». Московское наречие—основа русского литературного языка и русской орфоэпии. Язык и произношение. У кого учиться правильному русскому произношению; буквенные произношения; причины их возникновения и укрепления в речи. Определение правильного русского произношения. Кто в нем заинтересован. Задачи русской орфоэпии. Что сделано для нее сценой, наукой, школой, специальной литературой. Главнейшие правила русского произношения.

Всякий литературный язык имеет внешнее условное письменное обличье—орфографию или правописание, т. е. известные приемы письма, которые по традиции считаются «правильными». Никакой наукой нельзя доказать, что писать следует так, а не иначе. Могла бы быть другая, совершенно иная система письма для того же языка, и последовательное, без отступлений, ее применение было бы столь же «правильным».

Кроме этого, письменного костюма, в котором является литературный язык, у него есть обычно и звуковое обличье, именно такое, а не иное, произношение звуков, признаваемое «правильным». Это—орфоэпия, или правопроизношение. Что значит «правильное»? Понятие правильности и здесь так же условно: правильно то, что общепринято. Для науки о языке, подходящей к фактам с объективной точки зрения, нет ни правильных, ни красивых, ни безобразных произношений. Понятие правильности появляется только у самих говорящих, стоящих на нормативной точке зрения. Оно появляется только при том условии, когда какое либо одно известное произношение почему то полюбилось. Оказавшееся наиболее удобным, выгодным в каком либо отношении произношение признается в конце концов наилучшим. Отступления от него, естественно, признаются «неправильностями». Обычно правильным считается, что и понятно, произношение, свойственное тому диалекту, из которого выработался литературный язык, значит, диалекту той местности, которая стала центром национальной культурной жизни. Для русского литературного языка это—наречие города Москвы,

центра великорусского государства. На этом наречии писали бумаги в приказах в самой Москве, а за ними старались писать на нем же и во всех административных учреждениях всего государства; так сложился общий великорусский государственный язык. Этот язык послужил и авторам литературных произведений Московской Руси, когда старый литературный язык—наследие Киевской Руси — язык церковнославянской (по происхождению не русский, а болгарский), стал казаться непригодным. Так московское наречие легло в основу русского литературного языка.

Для целей общегосударственного и литературного общения было выгодно, а для самолюбия было приятно усваивать язык стольного города, т. е. предпочесть московские слова, московские формы, московские обороты и т. п. своим местным. Приобщиться до конца к общерусской культуре значило усвоить и произношение звуков московское. Это не всегда достижимо. Правописание—дело условное и не передает (и не должно передавать) точно звуков речи; поэтому произношение нельзя усвоить из чтения книг: для этого нужно непосредственное сношение с говорящими. Вот почему по правильному письменному языку русских литературных произведений мы не сможем узнать в авторе москвича, полтавца, вятчанина и т. д.; напротив, в живой речи интеллигента немосквича зачастую мы услышим черты местного произношения. Кто, в самом деле, из читателей, например, Короленка или Ключевского, не слыхав их речи, сказал бы, что первый говорил с южнорусским акцентом, а второй довольно изрядно окал, как северновеликорус по своему происхождению?

Не надо смешивать язык в широком смысле с произношением, относить к произношению то, что к нему не относится. Например, жгёт, у моей жене, рублёв, склизко—это не особые, «неправильные» произношения слов: жжет, у моей жены, рублей, скользко, это—другие с л о в а, которые не приняты в литературном языке, но существуют в говорах, между прочим и в московском просторечьи. Языку можно научиться из книг, произношению же—только со слуха или по специальному пособию, особым образом точно передающему произношение и составленному лицом непосредственно, т. е. опять таки со слуха, знающим произношение. Правильному литературному языку можно научиться из книг, написанных и немосквичами, и из устной речи немосквичей, правильному же произношению—только путем знакомства с устной речью москвича. Пушкинская московская просвирня [1]) — безусловный образец, конечно, только произношения, а не литературного языка в целом, так как она, конечно, могла говорить и «склизко» и другие недопускаемые в книжный язык слова и формы. Однако, она эти «неправильные» слова произносила «правильно», по московски,

[1]) Сам Пушкин в своем замечании: «Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням: они говорят удивительно чистым и правильным языком», имел в виду, главным образом, повидимому, чисто русские слова и выражения, сочные и меткие, которых часто не хватает книжной речи.

т. е. например, в «склизко» у нее было *л* мягкое, букву *з* она произносила здесь за *с*, а на конце у нее было не *о*, а известного вида *а* или звук близкий к *ы* (смотря по положению этого слова в речи). Словом, и на этих, «неправильных», словах произношению московскому, произношению «правильному», можно было бы у нее выучиться, но сами то эти слова перенимать в литературный язык было бы ошибкой. И наоборот, из правильной литературной речи образованного оратора можно учиться правильному языку, т. е. правильному употреблению слов и форм. Так, необразованный москвич может из речи образованного владеющего литературным русским языком южноруса усвоить правильное литературное «скользко» и не усвоить при этом от оратора неправильного произношения в этом слове буквы *з* за *з* и *о* за *о* в конце, а инстинктивно применив к этому новому для себя слову законы своего произношения, начать произносить правильно: «скольска».

Итак, основа русской орфоэпии—московский говор. Что произнесено не по московски, то «неправильно». Так как, с одной стороны, в живом народном московском говоре, в московском просторечьи нет, конечно, и доброй половины тех слов, форм, оборотов речи, которыми обладает литературный русский язык, а с другой стороны, так как образованные люди не употребляют слов, свойственных просторечью, то следовало бы, кажется, без оговорок принять, что учиться произношению нужно именно у образованных москвичей. Оговорка, однако, нужна. Чистоте произношения, кроме провинциальных акцентов, угрожает еще один враг, тем более опасный, что он под видом друга заходит, так сказать, в тыл орфоэпического фронта и действует там разлагающим образом. Дело в том, что книжное написанное слово таит в себе возможность особого рода неправильных произношений, именно произношений «буквенных», противоречащих законам всякого живого языка. Ведь в задачи нормального практического письма вовсе не входит и не должна входить точнейшая передача звуков, и вот на почве расхождения правописания с живым произношением возможно возникновение произношений неживых, искусственных. Уже с первого момента появления книги на Руси, когда языком письменности был у нас язык чужой, хотя и близкий, называемый церковнославянским, по происхождению болгарский,—уже с этого момента древне-русский читатель столкнулся с тем фактом, что в книге слова пишутся очень часто не так, как произносил он; ему оставалось либо читать не так, как написано, а так, как он произносил по-русски, напр., нёбо, мёд, а не нэбо, мэд, либо произносить не по своему, а так, как написано. Он делал и то и другое. С одной стороны, при близости языка, на котором писалась книга, к языку, на котором он говорил в обыденной жизни, т. е. при близости церковнославянского и древнерусского языков, он не понимал, что перед ним два разные языка, а считал книжный язык только более «правильным» видом

того же своего языка; обогащая из книги свой ум, он научался многим словам и оборотам, которых не было в его бедном живом языке, и старался усваивать язык книги также и для разговора; такое заимствование книжных слов в устную речь неизбежно утверждало грамотея в буквенном их произношении. С другой стороны, переделать вовсе свою манеру произносить чрезвычайно трудно. Поэтому при желании произносить слова по книжному зачастую получались искусственные компромиссы; например, русский умел произносить сочетания *не* и *нё*, но ему несвойственно было *нэ;* и вот, книжное слово, которое по церковнославянски должно бы звучать нэбо, а по русски нёбо, получает искусственное произношение небо, как мы произносим по традиции и до сих пор (а живое произношение, иначе говоря, свое русское слово нёбо мы стали употреблять в ином значении). Таким образом, в разговорном языке образованных людей накопилась масса слов с книжным *е* вместо живого *ё*: крест (ср. живое крёстный, перекрёсток), перст (ср. напёрсток), лев (ср. собственное имя Лёв), ветхий, щедрый, предмет, падеж, скверный, мерзость и мн. др.

Далее. Язык русский, как всякий живой, изменялся с течением времени, многие звуки и звуковые сочетания стали произноситься иначе, чем произносились раньше. Например, во многих говорах и в том числе в московском, который нас здесь интересует, отвердели звуки *ж, ш, ц*, бывшие первоначально мягкими (говорили жяр, шяр, цярь, стали говорить жар, шар, царь); особый прежде звук *ѣ* стал произноситься так же, как *е;* звонкие звуки: *б, в, г, д, ж* в конце слов и перед глухими перешли в глухие: *п, ф, к, т, с, ш* (стали произносить хле*п*, про*п*ка, ро*ф*, ло*ф*кий, са*т*, ло*т*ка, дру*к*, но*к*ти, моро*с*, ска*с*ка, но*ш*, но*ш*ка); звук *о* без ударения перешел или в *а* или в звук близкий к *ы* [1]) (стали говорить пълатно, вывъдък); *е* без ударения перешел в звук близкий к *и* (стали говорить *с*ило, вос*и*мь) и мн. др. Орфография меняется не так скоро, как язык; поэтому приемы письма оставались в общем те же. Несмотря на то, произношение в общем применялось к живому языку, а не к мертвой букве: так мы не окаем, несмотря на наше «окающее» правописание, не произносим в угоду историческому письму звонких на месте глухих и проч. Даже в традиционное церковное произношение славянского текста, где никогда не читают, например, *е* за *ё* или *о* за *а*, все таки проникли элементы русского произношения: так, например, и там садъ читают за сат и т. п. Тем не менее, как ни демократизировался наш литературный язык, восприняв в себя широкую народную струю в XVIII в. (в чем его громадная сила), он не устранил из себя другой стихии, церковнославянской: он усвоил и претворил в себе богатое наследие древнего литературного, по происхождению не русского языка (в чем также его крепкая основа). Эти чуждые по происхождению элементы настолько стали

[1]) Будем передавать его условно буквой *ъ*.

для нас своими, что никто без специального филологического анализа не отличает их от родных. Кто, в самом деле, из нас, говорящих по-русски, сознает, что враг, плен, младенец, прохлада, Ленинград, сокровище, превращу, предмет, или только что мной употребленные слова: восприняв, устранил, претворил, чуждый—слова нерусские или образованы по нерусским образцам? В числе таких слов, которыми весь пропитан книжный язык и язык разговорный образованных людей, очень многое и произносится не на русский лад, как упомянутые небо, крест, предмет и др. В прошлом (однако не самом отдаленном, не в древней Руси, когда книжные образцы только прививались, а позже с распространением книжной образованности) слов с таким произношением было больше. Например, образованные люди в XVIII в. старались вообще не произносить *е* за *ё* при чтении, т. е. старались читать, как пишется: идет, а не идёт, просвещенный, прельщенный, а не -ённый и т. п. Это видно из рифм стихотворцев XVIII и первой половины XIX в. Для Пушкина еще возможно было рифмовать «на почве, зноем раскаленной» и «стоит один во всей вселенной», «но человека человек»... и ...«послушно в путь потек» («Анчар», 1828). К нашему времени число слов с таким произношением значительно сократилось: под влиянием просторечья в очень многих из них произносится уже *ё*; мы говорим: раскалённый, просвещённый, идёт и т. п., и наши поэты уже не прибегают для рифмы к устарелым произношениям. Однако, мы и посейчас говорим без *ё* и крест, и небо, и вселенная, и дерзкий и т. д., и т. д., и эти книжные произношения не могут считаться и не считаются неправильными. Из книг они переходят и в народную речь.

Конечно, произношению подобных книжных слов нужно учиться у образованных людей.

Своим возникновением подобные буквенные произношения, как видим, обязаны тому уважению, которое питал и питает к книге читатель, тому предпочтению, вполне во многих отношениях заслуженному, которое он отдавал книжному языку перед своей разговорной речью. Эти уважение и предпочтение он распространял и на произношение заимствуемых из книги слов, если оно не совпадало с живым. Но здесь кроется, если хотите, уже доля неуважения к своему живому языку; он в сравнении с книжным зачастую представляется неправильным, вульгарным. Введение в традиционную литературную речь нового народного оборота, живого слова—всегда смелость со стороны писателя, и нужен большой такт и чувство художественной меры, чтоб эта смелость увлекла читателя, а не отвратила. Если здесь вполне целесообразна осторожность, то, с другой стороны, полное неуважение к живому языку несогласно с характером эволюции нашего литературного языка: народный язык с XVIII века стал и продолжает являться кладезем, из которого литературный чер-

пает, освежается и обновляется. Что касается в частности произношения, то по отношению к его чистоте то предпочтение, которое читатель склонен отдавать всему книжному перед живым народным, может играть и во многом уже сыграло печальную роль. Выше я сказал, что противоречия между письмом и языком, оказавшиеся с развитием этого последнего, в общем, в коренных чертах, разрешились победой произношения над орфографией. Но в частностях, наоборот, письмо подчинило себе язык: грамотеи придали мало по малу буквенное произношение многим уже не книжным, а чисто русским словам, и сделали это в искреннем стремлении говорить «лучше», в полной уверенности, что, «как написано, так правильней». Таковы произношения *что*, конечно, вместо *што*, конешно; широкий, упругий, тихий с *ий* вместо *ый;* поддакивать, натягивать, помахивать с *и* вместо *ы*; любят, косят вместо *любют*, *косют*; *ся* в глагольных окончаниях вместо *са* и много других. Вот эту то возможность возникновения особого рода неправильностей в произношении, которая таится в написанном слове, я и имел в виду выше; вот он, тот незаметный враг, который в личине друга соблазняет грамотея и искажает его живое произношение.

Таким образом, оговорка, которою надо сопроводить рекомендацию учиться правильному произношению у образованных москвичей, должна сводиться к предостережению от специально грамотейских неправильностей в произношении; речь образованного москвича, свободная от одних ошибок в произношении—от провинциализмов, может заключать в себе, как и речь всякого грамотея, ошибки другого рода—буквенные произношения живых русских слов, в роде только что указанных.

Из предшествующего изложения понятно, как могли появиться такие искаженные произношения. Но как они утверждаются в практике? Читатель встретил в книге слово, которого он никогда не слыхал. Как прочтет он его? Разумеется, применительно к приемам произношения других подходящих и известных ему слов. Если грамотный подросток впервые встретит слово «восторженный» в стихе Пушкина: «восторженных похвал пройдет минутный шум» («Поэту»), как прочтет он его? Разумеется, «ва*с*торженных», применительно к *а* в таком же положении (в слоге первом перед ударяемым) в словах, давно ему известных: п*а*хвал, пр*а*йдет. Встретив впервые слово «боксер», он, вероятно, прочтет его с *а*, если сделает ударение на последнем слоге: б*а*ксе́р. Но можно ли поручиться, что он прочтет здесь—с ё р, а не—с е р? Ведь одинаковые сочетания букв могут в разных словах произноситься по разному; так, п о л е т, т в е р д ы й произносим п о л ё т, т в ё р д ы й, а б а л е т, а т л е т, м и л о с е р д н ы й не произносим с *ё*. Как произнесете вы, читатель, собственное имя реки О л е к м а, которое, предположим, впервые встретили в учебнике географии: О л ё к м а или О л е к м а? Наконец, ребенок, еще не свободно читающий, разбираясь в буквах печатного слова, даже самого простого,

произносит его буквенно и продолжает его произносить так, пока не осознает его, и пока оно не прозвучит ему, хотя бы мысленно. Но нет гарантии, что он предпочтет то, что прозвучит в его ухе, тому, что видел его глаз, потому что здесь на сцену может явиться то «уважение» к книге, о котором говорилось выше. Школьнику может показаться, что произношение ш т о — это неправильность, свойственная ему и его домашним, признак необразованности, раз в книге напечатано ч т о. Тут на помощь должен явиться учитель. Но учитель будет полезен только в том случае, если сам свободен от этого ложного уважения к книге.

Здесь мы подошли к главной причине, почему буквенные произношения, естественно возникающие, не исчезают, а утверждаются в речи грамотеев. Действительно, нашей школе еще совершенно чужда идея орфоэпии. В то время, как в Западной Европе, например во Франции, высоко ценят правильное произношение, доходя до культа слова, у нас редкий учитель слышал слово «орфоэпия». Постановка преподавания родного языка, при которой язык смешивался с письмом, так что самого языка, вне его костюма — письма, оканчивающие школу так и не узнавали, как нельзя лучше способствовала тому, что на произношение внимания не обращалось; при слепой вере в букву и преподаватели в случаях сомнения склонны решать дело в пользу написания, а не произношения, которое им кажется вульгарным. И вот, можно с грустью констатировать, что чем больше распространялась грамотность, тем больше искажалось произношение. Безраздельное господство звукового метода в обучении грамоте, при котором было очень удобно исходить вопреки действительности из положения, будто каждой букве соответствует свой звук, а каждому звуку своя особая буква, оказало в этом деле, вероятно, крупную медвежью услугу. Если прибавить сюда еще учителей, которые сами не обладали правильным московским произношением и не знали его даже и теоретически, то все причины постепенной порчи произношения станут ясны. Таким образом, не только у самоучки, в тиши и одиноко копошащегося в буквах и постигающего сквозь них книжную премудрость, слова могли облекаться в буквенные произношения, но и в школе ребенок мог утверждаться в них или при попустительстве учителя, или при его содействии: при попустительстве — учителя, говорящего правильно, но не ценящего этой правильности; при содействии—учителя, самого неправильно говорящего. С распространением школ попустительство одних, сначала немногих, создавало целые поколения учителей уже содействующих. Известны грубейшие случаи, вполне возможные у самоучек, но наблюдаемые и у школьников при условии учительского попустительства. Таково, например, произношение е г о с г вместо е в о, которое можно встретить у грамотея, по крайней мере при чтении; таково же недавнее е я, как писалось для родительного падежа, о н е и о д н е для женского рода, несмотря на то, что в живом

языке никогда не было е я, что в говоре московском, как и многих других, всегда звучало о д н и, о н и для всех родов (а во многих других народных говорах звучало и звучит о д н е, о н е, с в о е, ч ь е [1]), но опять таки для всех трех родов, т. е. там нет форм о д н и, о н и, с в о и, ч ь и).

Из всего вышесказанного следует, что п р а в и л ь н о е о б щ е р у с с к о е п р о и з н о ш е н и е—э т о п р о и з н о ш е н и е о б р а з о в а н н ы х м о с к в и ч е й, н о с в о б о д н о е о т и с к а ж е н и й в у г о д у б у к в р у с с к и х и о б р у с е в ш и х с л о в.

Кто заинтересован в правильном произношении? Дома, в обыденной речи все равно, как говорить, как произносить. Но не безразличен язык, когда он является средством уже более широкого общения с людьми (книга, документ и т. д.); не безразличным окажется и произношение, если этим средством явится живое, а не письменное слово. Тот, кто на ряду с воздействием содержания хочет достичь также воздействия формы, должен считаться с благозвучием речи. Правильное произношение нужно сцене, эстраде чтеца, ораторской трибуне. Знакомство с ним необходимо школе, поскольку она учит общерусскому языку, как органу общерусской культуры. Мы уже видели, что школа не может похвалиться своими заслугами перед русской орфоэпией. Единственно, кто лелеяла ее, это—сцена. Но сцена ничего не имеет кроме традиций; нужно, чтоб кто то ценил эти традиции; сцене нужен союзник, который укрепил бы эти традиции. Союзником должна быть школа. Сохранение правильного произношения невозможно, если ей попрежнему будет чужда орфоэпия. Если из русских только те, которые пойдут на сцену, и не раньше того, как поступят туда, будут узнавать, что не следует говорить ч т о, а нужно говорить ш т о, и т. п., то сценическое произношение может в конце концов перестать быть общерусским, будет отвращать зрителей своей эксцентричностью. Сцена, и только сцена, может быть «звучащим» образчиком правильного языка. В последнее время с развитием учебных и иных учреждений, культивирующих живое слово, много сделали для идеи орфоэпии чтецы (декламаторы) и рассказчики. Честь и хвала им за то, что в поисках за обоснованием традиций и за решением спорных вопросов в области орфоэпии они первые обратились к научным трудам по родному языку. А эти вопросы есть. Нельзя на актера и чтеца налагать обязанность научных изысканий и предоставлять их собственным силам решение спорных вопросов.

Что же нужно для сохранения и распространения правильного русского произношения? Каковы, другими словами, задачи русской орфоэпии?

1. Сцена должна бережно хранить свои традиции.

2. Чрезвычайно важным вкладом в дело охраны правопроизношения было бы составление давно работающими сценическими

[1]) Хлеб-соль на столе, а руки свое.

деятелями, например, артистами Малого театра в Москве, перечня тех правил произношения, которым они следуют полубессознательно.

3. Необходимо подробное описание, научно составленное, московского образованного произношения с классификацией в нем явлений живых и искусственных и с указанием допускаемых варьянтов произношения в отдельных случаях.

4. Школа при обучении родному языку должна не только не упускать из виду правопроизношения, но и учить ему.

5. Необходимо составление пособия по русской орфоэпии, вполне пригодного для практической цели.

6. Составители практических пособий по орфоэпии должны быть вооружены необходимыми, хотя бы и элементарными научными сведениями по физиологии звуков речи и по русской фонетике.

7. В пределах правильного произношения есть целый ряд отдельных случаев допустимых варьянтов. Для практических целей здесь вполне применима сознательная нормировка. Необходимо собирание соответствующего материала и какое то соглашение, может быть, путем съезда деятелей и любителей живого слова, для выбора одних из таких варьянтов в качестве правильных или для санкционирования допустимости употребления обоих. В этом главнейшим образом заинтересована сцена и эстрада.

Что сделано в этих направлениях до сих пор и каково положение дела в указанных областях?

По отношению к сцене надо сказать, что она является для всех почти единственной школой правопроизношения, и это ее ко многому обязывает. Между тем в настоящее время даже в московских многочисленных театрах не редкость встретить актера с далеко не образцовым произношением. Комиссией Живого Слова в Государственной Академии художественных наук поставлен вопрос о созыве конференции по установлению сценического произношения.

Для составления научного описания московского образованного произношения у нас есть материал, например, в книгах: проф. Богородицкого «Общий курс русской грамматики», в сокращенном издании 1918 г. (Казань), носящий название «Русская грамматика»; акад. Шахматова «Очерк современного русского литературного языка», Ленинград, 1925 г.; акад. Карского «Русская диалектология», Ленинград, 1924 г.; Еремина и Фалева «Русская диалектология», под ред. акад. Карского, Ленинград, 1928; в моем историко-теоретическом очерке «Русское правописание» и моем «Кратком введении в науку о языке», в «Хрестоматии по великорусской диалектологии», составленной проф. Дурново и мною, где на целом рассказике Чехова «Дачники» передается произношение обоих авторов хрестоматии—москвичей. Для описания, о котором я говорю выше в пункте 3-м, необходима большая подробность и больший орфоэпический уклон.

Что касается далее школы, то поскольку в ней будет развиваться начавшееся оздоровление преподавания родного языка и утверждаться такая его постановка, при которой не будут пренебрегать наблюдениями над самим языком, постольку ознакомление с правильным произношением найдет себе в школе подобающее место. Успело ли оно уже занять в ней хоть какое нибудь место в настоящее время, когда учитель не без тревоги все еще присматривается к этому новому подходу к языку, сказать трудно. Во всяком случае, впервые в программах родного языка для школы 1-й ступени, выпущенных в 1920 г., появилось понятие орфоэпии и имеется «замечание» о ней, приглашающее учителей бороться с буквенными произношениями учеников [1]). Новая постановка преподавания родного языка вызвала уже появление и новых учебников. Понятно, что отдел наблюдений над звуками, имеющийся в них, неразрывно связан с вопросами правильного произношения. В зависимости от степени знакомства автора с московским произношением всегда можно рисковать встретиться с орфоэпическими ошибками.

Говоря о школе, я не имел до сих пор в виду профессиональных школ, специально подготовляющих деятелей живого слова. О преподавании в них орфоэпии, как особом предмете, стало слышно только за самое последнее время.

Относительно специальных практических пособий, в той или иной мере представляющих собою руководство по орфоэпии, надо сказать, что таких имеется уже несколько. Мне известны:

В. И. Чернышев. Законы и правила русского произношения. Опыт руководства для учителей, чтецов и артистов. 3 изд. Петр. 1915.—Материал по орфоэпии есть в его же труде «Правильность и чистота русской речи». 3 изд., сокращенное. Петр. 1915.

В. Г. Шаров. Образцовое русское произношение. Опыт самоучителя орфоэпии. 2 изд. М. 1915.

И. И. Огиенко. Словарь неправильных слов и выражений в русской разговорной речи. 3 изд. Киев, 1914 (есть глава о «Законах русского литературного произношения»).

Его же. Правильность и чистота русской речи. Радомысль, 1916.

А. Италинский. Происхождение, свойства и особенности правильной русской речи. М. 1913.

В. В. Суренский. Правильность речи (орфоэпия). Практическое руководство по выработке правильного произношения (общепринятого литературного московского говора). Воронеж, 1922.

Н. А. Пашков. Декламационная хрестоматия. С научно-популярным очерком: законы и правила художественного чтения, с приложением статьи И. Л. Смоленского «Несколько новых вопросов декламации». М. 1924.

---

[1]) См. брошюру, изд. НКПросом, „Родной язык в школе I ст." М. 1920 или „Программы семилетней единой трудовой школы" М. 1921, или „Информационный Бюллетень Моск. отд. народн. образ." 1921 г., № 12—13.

Сюда же можно присоединить и специально посвященные ударению:

В. И. Чернышев. Русское ударение. Пособие к его изучению и употреблению. СПБ. 1912.

И. И. Огиенко. Словарь ударений в русском языке и правила русского ударения. Киев, 1911. То же во 2-м издании (Киев, 1914) имеет заглавие: «Русское литературное ударение».

Кроме специальных пособий по орфоэпии, замечания о правильном произношении все более и более стали встречаться в общих руководствах по декламации, дикции, технике и музыке речи и т. п.

Самыми основательными трудами являются книги В. И. Чернышева. Это, собственно говоря, не практические руководства, а научные труды с тем орфоэпическим уклоном, о котором я только что говорил выше; и если я о них говорю здесь, а не выше, то потому, что сам автор свои «Законы и правила» называет «опытом руководства для учителей» и т. д. Он дает ценный и интересный материал, извлекаемый из произведений русских писателей и из живого московского произношения, которым сам, впрочем, как не москвич, не владеет, но которое хорошо знает, как диалектолог (В. И. Чернышев обогатил русскую диалектологию целым рядом ценных описаний многих русских народных говоров). Поэтому сплошь и рядом в указаниях Чернышева практик не найдет «правил» произношения, которых ищет. Его, конечно, не удовлетворят постоянно встречающиеся у Чернышева формулировки, вроде «обыкновенно говорят», или «изредка говорят», «иные» или «многие произносят» и т. п. Напр., прочтя § 22 (по 3-му изданию): «Буква *щ* произносится обыкновенно как долгое мягкое *ш*: шьшюка (щука). Некоторые произносят также эту букву как сочетание эвуков *шч*: шчюка», или § 34: «Орфографические сочетания *жж* и *зж* звучат обыкновенно как долгое мягкое *ж* или изредка как сочетание ж ь д ь ж ь: вожьжи, вожьдьжи»... он непременно спросит: «а как же н у ж н о произносить?» и ответа не получит. Кстати, отвечу за Чернышева: *щ* надо произносить только как мягкое долгое *ш*, а *жж* и *зж* только как долгое *ж* (мягкое, напр., в жужжать, уезжать,—твердое, напр., изжога).

Конечно, хуже категорические, но неверные „правила“, встречающиеся во всех остальных книгах. Таковы у Огиенка (Словарь) и Суренского утверждения, будто бы в иностранных словах, вроде Гомер, алкоголь, гармония, можно произносить *г* фрикативное, возможное в словах: бога, благодать; у Огиенка и у Шарова: будто гласная *о* без ударения всегда произносится как *а*: галава, салавей (она произносится так только в слоге непосредственно предшествующему ударяемому: гълава, сълавей); у Шарова: будто нужно говорить З э в с, О д и с с э я и т. д., з а н и м а е с с а, вместо з а н и м а е ш с а, я з ы ш н и к вместо я з ы ч н и к, будто можно говорить у е ж ь ч ь ж а т ь вместо у е ж ь ж я т ь, л е п е с к и, л и с к и, п о в е с к а вместо л е п е с т к и, л и с т к и, п о в е с т к а и др.; у Су-

ренского: р в а л с я́ вместо р в а л с а́, в и х д о м е вместо в й и х д о м е (стр. 14); будто бы во всех иностранных словах нужно «ясно и определенно» произносить неударяемое *о*: к*о*стюм, к*о*рсет, кринол*и*н, к*о*нцерт, р*о*ман, пр*о*фесс*о*р, револ*ю*ция, *о*ранжерея, к*о*медия и мн. др. (22), а *ци*—мягко: Франция, дикция, специальность вместо твердого *цы*. Отмечу еще мелочь у Суренского. Он, повидимому, не рекомендует произношения *сса* в глагольном окончании (шься). И не надо. Но почему то он нашел нужным сделать такое примечание (20): «Глагольное окончание *шься* по Ушакову выговаривается как *сса*: мо́лисса». Пользуюсь случаем заявить, что ни в одной из своих работ я этого не говорю, сам произношу *шса* и недоумеваю, что могло подать повод к такому недоразумению. Был, помню случай, когда я высказался об этом окончании, но не в печати, а устно, и не в защиту *сса*, а против него, а именно, когда я увидал в Институте Слова в стенных орфоэпических таблицах, составленных В. К. Сережниковым для его учеников, это *сса*, заимствованное им из первых изданий Чернышева (см. «Законы и правила» и т. д., 1-е изд. § 32, 2-е § 38); в 3-м издании (§ 37) у Чернышева об этом говорится иначе: «Окончание глаголов *шься* прежде произносилось *сса*: сердисса... Теперь книжное *шса* (твердое *с* из живой речи) заметно вытесняет старое произношение и, кажется, господствует в языке книжных людей».

Выше я высказал пожелание (пункт 6 «Задач орфоэпии»), чтоб практические пособия основывались на хорошем знакомстве с физиологией звуков речи и с русской фонетикой. Казалось бы без того и невозможно обойтись: как, в самом деле, успешно говорить о звуках, основываясь только на орфографической передаче их! Однако, названные научные дисциплины мало известны, школьное отношение к языку сделало так, что они издали и заранее представляются нарочито трудными, кажутся неинтересными, а потому не все авторы в достаточной мере ими пользуются, совершенно неосновательно боясь затруднить ими не то себя, не то своих читателей и учеников. Например, один из авторов, В. В. Суренский, в предисловии к своему названному выше руководству, счел даже нужным сделать такое признание: «При всем моем уважении к «чистой науке» (почему то в кавычках. *Д. У.*), я, к своему сожалению, должен признать, что наука часто бывает далека от жизни и практики,—вывод, продиктованный десятилетним педагогическим опытом. Поэтому я совершенно не касаюсь в своем изложении так назыв. научной транскрипции. Моя задача: дать практическое руководство по орфоэпии, в котором в с ж а т о й с и с т е м а т и ч е с к о й форме указаны все главнейшие законы и правила русского произношения, иллюстрированные достаточным количеством примеров». Что наука бывает далека от практики, об этом можно и не жалеть: это ей иногда идет на пользу; а о том следует пожалеть, когда практика слишком удаляется от науки, потому что это всегда во вред практике. Дело не в том, приме-

нять или не применять для объяснения произношения фонетическую транскрипцию (ведь не в этом же научность!), а в том дело, что успешно справиться с задачей, «систематически указать все главнейшие законы и правила произношения», игнорируя и физиологию звуков речи и русскую фонетику, нельзя по крайней мере без излишнего, ничем не вознаграждаемого затруднения своих читателей и учеников. Уважение к науке, о котором заявляет Суренский, обращается в какое то сверхуважение: так уважаю, что и дело с ней иметь боюсь! Вот от этой боязни следует освободиться. Она, несомненно, нездоровое чувство и идет в ущерб практическому делу. Когда учишь произношению с голоса, еще можно ограничиваться только правильным произношением и добиваться, чтобы ученик произнес так же; но и тут уже весьма полезны обобщения, которые, конечно, потребуют средств для формулировки, а эти средства можно почерпнуть только в научном анализе звуков. Когда же произношение описываешь в книге, то без этого анализа не обойдешься, если хочешь говорить о действительных фактах, а не ходить в тумане вокруг да около. Разве может преподаватель пения, ставящий ученику голос, довольствоваться обывательскими представлениями о «горле» вообще? Нет, ему надо различать и гортань, и голосовые связки, и носоглотку, и проч. Нельзя учить владеть дыханием, оставаясь на уровне коновалов и знахарей, и из боязни, как бы не затруднить учеников, говорить им о «становой жиле», «дыхальном глотле» и т. п. То же и со звуками речи. Беда только в том, что среднеобразованный человек, слыхавший от науки и о гортани, и о грудобрюшной преграде, ничего еще от науки не слыхал о звуках речи, о своем языке, а это равносильно тому, что он не знает, как обстоит дело со звуками в действительности, в «жизни», на практике. Но пришла уже давно пора и учить языку и говорить о языке от науки. И в орфоэпии без этой страшной, уважаемой пока на расстоянии, науки не обойдешься. Все дело в том, как пользоваться ею для практических целей: излагать научно не значит говорить по ученому, недоступно.

Возьмем для примера из практических пособий по орфоэпии несколько конкретных случаев ошибок против науки или ненаучного подхода к делу. Разобрав их, мы увидим, что ненаучность мешает читателю, сбивает его с толку и затрудняет, а научность вывела бы из затруднений и упростила бы дело.

Первый пример. В названных пособиях вслед за школьными грамматиками нёбные звуки *г, к, х* часто ошибочно называются гортанными. Зачем вообще называть как бы то ни было эти звуки, если б их не было надобности отличить от каких то иных *г, к, х?* Лучше совсем обойтись без названия, чем называть гортанными такие звуки, которые образуются не в гортани, а в полости рта, именно, или при сближении или при смыкании языка с нёбом. На первый взгляд все это может казаться мелочью, несущественной для практики. Но дело в том, что в человеческих

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

языках встречаются звуки действительно гортанные, т. е. образующиеся в гортани, без участия полости рта. Таково, например, украинское *г*, иначе называемое звонким придыханием. Именно в орфоэпической практике то неточность названия тут и может помешать. Представьте себе, в самом деле, лицо с акцентом, произносящее свое гортанное *г* и желающее усвоить вместо него «правильное», т. е. нёбное *г*, на какие ненужные затруднения и путаницу обрекает его наставник, сам не понимающий, в чем разница между этими двумя *г*, и всякое *г* называющий гортанным!

Другой пример касается одного из этих же звуков—нёбного *г*. В литературном произношении он известен в двух разновидностях: обычный *г* взрывный и редкий *г* фрикативный, произносимый в некоторых лишь словах: г о с п о д и, б о г а (и др. падежах этого слова, кроме именит. ед. числа), б л а г о, к о г д а, г д е и нек. др., к которым иные руководства, как мы видели выше, присоединяют—но уже совершенно ошибочно—еще иностранные слова, вроде Гомер, алкоголь и т. п. Так или иначе автору руководства приходится самому различать и показать ученику различие между двумя этими разновидностями. Когда я называю одну разновидность взрывным звуком, а другую фрикативным, я этим самым отсылаю читателя, незнакомого с этими терминами, к учебнику физиологии звуков речи, где он познакомится с артикуляциями того и другого *г*. Научится ли он сейчас же произносить тот звук, которого он никогда не слыхал, ручаться никак нельзя; но таково уже свойство всякого обучения звукам путем описания их, а не с голоса: для описывающего звуки другого выхода нет, как указывать на их артикуляции: или путем прямого описания этих артикуляций тут же, или путем называния их соответствующими действительности терминами. Что же мы находим в руководствах? Многие из них называют взрывный *г* «твердым», а фрикативный — «придыхательным». Если ученик сразу поймет, в чем дело, то, конечно, поймет не благодаря этим терминам, а не смотря на них, или даже вопреки им, помимо них, словом, какими нибудь окольными путями. Если же не поймет, а, пытливо разбираясь, доберется до «науки», от которой неразумно уберегает его заботливый наставник, то в каком же положении он окажется, когда узнает, что и взрывный *г* может быть и твердым (нога) и мягким (ноги), и фрикативный может быть и твердым (бога) и мягким (о боге)? Термином «придыхательный», повидимому, хотят обратить внимание на акустическую близость *г* фрикативного к звуку *х* (близость эта основывается на общем им обоим физиологическом свойстве: оба они фрикативные); но как ни напоминает звук *х* кому то о дыхании, о придыхании и т. п., он сам не «придыхательный». Дело опять в том, что существуют в человеческих языках (не в русском) действительно придыхательные согласные, и *г* может быть придыхательным, но такое *г* уже не то, что в «бога», и не то, что в «нога», и не то, что упомянутое выше украинское придыхание, иначе гортанное *г*.

В какое же положение путающий термины автор ставит своего пытливого читателя, если тот сумеет где нибудь справиться и найдет, что «придыхательные» звуки—это звуки сложные, состоящие из того или иного согласного, образуемого в полости рта, и придыхания, одновременно с ним производимого в гортани (например, начальное немецкое t в Ton)? Итак, если и нельзя ручаться, как я думаю, чтоб украинец с его гортанным *г* или южновеликорус, например орловец, с его нёбным фрикативным *г* выучились по пособию произносить московское (оно же и северновеликорусское) нёбное взрывное *г*, то пусть все таки описания артикуляций этих разновидностей *г* или названия их соответствуют действительности (т. е. не погрешают против науки): тогда ищущие будут по крайней мере на верном пути.

Наконец, третий пример—изложение главнейшей черты нашего литературного московского произношения, именно, произношения неударяемых гласных. Сначала отдадим себе отчет, как дело обстоит в действительности, а потом посмотрим, как его иногда излагают. В московском говоре, как во всяком акающем говоре, качество неударяемых гласных зависит от их расстояния в слове от ударения. Все неударяемые гласные во всех слогах, кроме первого предударного (т. е. слога, непосредственно предшествующего ударяемому), произносятся у нас с неполным голосом, иначе говоря «полуглухо» (едва ли чтеца или певца следует оберегать от знания того, что такое неполный голос, фистула, фальцет...). Так, например, в слове с у н д у к у звук в слоге *су* произносится с меньшим голосом, чем остальные *у;* таковы же звуки *у* в в о з д у х, *и* в словах к и п я т о к, с а н и, *ы* в с ы р о в а р, б а б ы и т. п. Неполнота голоса, «полуглухость», делает *у, и, ы* в указанных положениях менее ясными на слух, чем те же безударные в первом предударном слоге (*у* в слоге *ду* в с у н д у к у, *и* в п и л а, *ы* в б ы к и и т. п.), не говоря уже о тех же гласных под ударением. Однако эти менее ясные *у, и, ы* остаются все таки звуками *у, и, ы*, т. е. артикуляции их не изменяются. Другие гласные в зависимости от места неударяемого слога меняются, становятся другими звуками, при чем эти другие звуки, если они не в первом предударном слоге, по общему правилу, произносятся полуглухо. Таким образом, буквы *а* и *о* в первом предударном слоге произносятся за *а* (полнозвучное, так сказать, «настоящее»), а в остальных неударяемых слогах они произносятся не за *а* и не за *о*, а как особый звук, акустически очень близкий к *ы* (потому что его артикуляция близка к *ы*, но с установкой языка пониже, чем для *ы*); и этот звук, согласно положению, в котором он появляется, всегда будет полуглухой. В примерах, за неимением в азбуке для него особой буквы, обозначаем его, как уже условились выше, буквой *ъ*. Итак, произносим: вада, сады, въдавос, съдавот, хлопъй, рыбъй. Далее, буква *е* в неударяемых слогах произносится очень близко к *и* (а то и прямо за *и*); этот промежуточный между *е* и *и* звук, согласно правилу,

не в первом предударном слоге звучит тоже полуглухо. Весна, зеленеть, вечер произносим почти висна, зилинеть, вечир, при чем в слогах *зе* и *чер* этот гласный полуглухой. Точно так же произносится и буква *я:* тяну, пятачек, пояс. Исходя из современных букв, а не излагая исторически (что невозможно в популярном изложении), приходится в описание нашего произношения вводить ряд частностей, которые кажутся исключениями. Некоторые необходимо и здесь назвать. Так, *жа, ша* в первом предударном слоге произносятся за *жы, шы:* жылеть, шыги; *ча, ща* без ударения произносятся почти за *чи, щи* (т. е. так, как если бы писалось здесь не *а*, а *я* или *е*): чисы, щидить. Такова схема описания главнейшей звуковой черты нашего языка — произношения неударяемых гласных. Само явление довольно сложное для изложения, главным образом в силу непоследовательности соотношения между орфографическими написаниями и произносимыми звуками; в двух словах его не опишешь. Смею надеяться, что мое только что предложенное изложение не является недоступным «по учености». Можно и следует стараться суметь сказать просто о мудреных вещах, но всему есть предел. Упростить самые вещи не в нашей власти. И если в заботе об упрощении изложения мы не скажем главного о вещах, то это уже искажение действительности. В нашем явлении главное: полуглухость всех неударяемых гласных в строго определенных положениях их в слове и, кроме того, вполне закономерные изменения некоторых из них в зависимости от их положения. В пример того, как пособия иногда искажают действительность при изложении занимающего нас явления, сошлюсь на В. В. Суренского. Он пишет (стр. 9): «гласные неударяемые произносятся неясно, неопределенно, туманно, летуче, но не проглатываются». Если б знать, что здесь дело идет о полуглухости неударяемых гласных, о которой я только что говорил, то я был бы готов принять для полуглухого звука любое из этих названий: неясный, неопределенный, туманный, летучий, если они удобнее термина полуглухой» (прямо указывающего на неполноту голоса), но готов бы я был при одном непременном условии: чтоб предварительно читателю было выяснено, что здесь надо разуметь. Ведь неясность, туманность и т. п. может зависеть не только от неполноты голоса, но и от чрезмерной краткости звука, и от вялости его артикуляции, и от слабости экспирации. Слово «летуче» и оговорка: «но не проглатываются», склоняют к подозрению, не имеет ли автор в виду количественную разницу между ударяемыми и неударяемыми гласными, приписывая последним большую краткость. Это было бы неверно. Из процитированного общего правила Суренского видно только, что какое то одинаковое свойство приписывается всем неударяемым гласным и во всяком положении. Если это свойство—полуглухость, то правило не верно: полуглухи все неударяемые гласные, но не во всяком положении (в 1-м предударном слоге полуглухости нет). Но дело обстоит еще хуже. Из

приведенных далее Суренским примеров на 8 сортов неударяемых гласных и примечаний к этим примерам совершенно ясно, что автор под «туманность» звука подводит и переход его в другой звук. Проявлением «туманности» и т. п. оказывается и произнесение за звук близкий к *ы* первого *а* в занавеска и первого *о* в голова, и произнесение неударяемого *е* за $\frac{e+u}{2}$ (это алгебраическое выражение должно, повидимому, обозначать звук средний между *е* и *и*) и многое в том же роде. А вот, как произносятся второе *а* в занавеска и второе *о* в голова, тоже ведь неударяемые, значит, тоже по общему положению «туманные», так и остается неясным; и жаль, что ниоткуда не видно, что они произносятся одинаково и именно, как *а*, самое определенное, без всякой туманности. В число примеров на неударяемое *а* даны между прочим: часы, жалеть, шаги, щажу, и в примечании к ним пояснено (?), что «неудар. *а* после шипящих $= \frac{a+e+u}{3}$»... Безразлично, как именно разгадает читатель эту загадку; важно то, что в часы и щажу с одной стороны, а в шаги и жалеть с другой, звуки разные (*и* и *ы*), и ни тот, ни другой не могут быть названы звуком *а* хотя бы самым туманным, самым летучим. Мало того, даже такие совершенно иного порядка вещи, как произношение строгый, тихый вместо орфографических строгий, тихий и т. п., свалены автором всё в ту же одну «туманную» кучу. Самый тот факт, что почти каждый пример пришлось снабдить примечанием о произношении, уже показывает, что общая формулировка важнейшего закона русского произношения неудовлетворительна. Надо думать, из добрых побуждений упростить, автор сделал отчаянную попытку обобщить неподдающееся обобщению, но разочарование в «чистой науке», пережитое им за десять лет педагогического опыта (см. приведенное мною выше его предисловие), сделало эту попытку совершенно неудачной: усвоить главнейший закон русского произношения по его изложению невозможно.

В связи с вопросом о приемах изложения звуковых явлений уместно сказать несколько слов об одном способе передачи звуков на письме ради практического усвоения живого произношения. Я имею в виду фонетическую транскрипцию, т. е. точное обозначение звуков, обозначение условное, не стесняемое принятой орфографией. Орфография, как известно, часто далека от произношения, она игнорирует живые звуки, так как для тех практических целей, которые преследует нормальное письмо (передавать мысли), вовсе нет надобности точно передавать звуки речи. Там же, где предметом внимания являются именно сами звуки, могучим средством говорить о них с читателем, является фонетическая транскрипция. К ней прибегает поэтому и наука о звуках, и практика, имеющая дело со звуками, например, все чаще и чаще

обучение иностранным языкам; за границей издан целый ряд таких пособий (Фиэтером, Пасси, Джонзом и др.), по которым читатель, ознакомившись с значениями принятых авторов условных знаков, сразу видит, как правильно произнести данный текст (французский, немецкий, английский и др.). Смотря по различию заданий, транскрипция может обладать самой различной степенью точности. Для нашей орфоэпической цели она вовсе не должна быть идеально точной, а может быть довольно простенькой. И напрасно ее боится В. В. Суренский. Мы видели выше, как в своем предисловии, напугав читателя наукой, далекой от жизни, он пугает его еще и «так называемой научной транскрипцией», но тут же успокаивает, что ни той ни другой в его книге читатель не найдет. Однако, он не сдержал своего обещания. Как только нужно показать действительное произношение, другого средства нет, и сам В. В. Суренский прибегает к транскрипции, когда пишет на стр. 13: ручьйи, житийэ, на стр. 18: роввырыт, серьп и т. п.; а на стр. 31 он рекомендует, как полезное для усвоения произношения, «орфоэпическое списывание текстов». Т. е. не в общепринятой орфографии, а как произносим? т.-е... в транскрипции? Что он разумеет под «так называемой научной» транскрипцией? Отличает ли он эту от какой либо другой? Приведенные мною сейчас образчики его собственной транскрипции вполне научны, т. е. верно передают действительное произношение. Н. А. Пашков не побоялся транскрипции, и в своей «Декламационной хрестоматии», изложив кратко (вполне правильно, хотя, к сожалению, несколько небрежно) главнейшие черты правильного произношения, напечатал до двух десятков текстов в орфографическом виде и тут же в условной простенькой транскрипции. Его читатель сразу видит, о каких звуках идет речь, и имеет достаточно материала для упражнений в их произнесении. Разумеется и этот способ, как *всякий* письменный, является суррогатом обучения произношению с голоса, однако он самый лучший, потому что желающего познакомиться с правильным произношением он ставит прямо лицом к лицу с самою действительностью, с тем, что есть в языке, с самими звуками, а не с туманными их описаниями. Для того, чтоб предпочесть этот способ передачи живых звуков, нужно было проникнуться тем, что наблюдено в этой области наукой, не боясь, что она уйдет далеко от жизни, а с полной уверенностью, что она то именно и способна открыть самоё действительность. И «наука» не обманула автора, а привела его к самому надежному в практике способу.

Замечающееся теперь у нас возбуждение интереса к орфоэпии может принести богатые плоды лишь при условии тесного союза научного исследователя с практиком живого слова на почве не только взаимного уважения, но и совместой работы.

Закончу свою статью кратким изложением главнейших правил произношения и сделаю это применительно к чаще встречающимся неправильностям. Неправильности в произношении, как

это было уже указано, могут быть или диалектического происхождения (провинциализмы, местный акцент) или искусственного (буквенное произношение). Поэтому укажу здесь сначала 1) главнейшие черты московской речи, против которых погрешают немосквичи, потом 2) — наиболее распространенные искажения живого произношения, создавшиеся на почве буквы у грамотников, хотя бы и москвичей. Ради общедоступности в формулировке „правил" исхожу от правописания.

1. Все гласные во всех неударяемых слогах, кроме первого предударного [1]), произносятся неполным голосом; поэтому эти слоги всегда не так отчетливы, как ударяемый и первый предударный: сундук, воздух, приносить, обычаи, рыбаки.

Эта так называемая редукция (по голосу) неударяемых гласных несвойственна, например, украинцам и многим северновеликорусам; в их речи, как и в речи иностранца, отчетливое произношение всех неударяемых гласных кажется нам особым „отчеканиванием".

2. Буквы *о* и *а* в неударяемых слогах произносятся следующим образом. В первом предударном слоге они произносятся как *а*, в остальных неударных слогах произносится на месте их полуглухой звук, близкий к *ы* (обозначаю его условно буквой *ъ*). После *ж* и *ш* в предударных слогах на месте *а* и *о* звучит *ы*, а после *ч* и *щ*—звук очень близкий к *и* (обозначаю его условно курсивной буквой *и*).

Примеры. Вода, водовоз, паводок—вада, въдавос, павъдък. Сады, садовод, высадка—сады, съдавот, высътка. Жара, шары, шарообразный—жыра, шыры, шыръабразный; но: крышами, рогожами—по общему правилу: крышъми, рагожъми. Часы, часовой, щавель—чисы, чисавой, щивель; но: тучами, рощами—по общему правилу: тучъми, рощъми.

Но в начале слова *о*, *а*, всегда *а*: атаман, открывать. В конце слова вместо звука ъ может быть перед паузой и звук более открытый, почти *а* (*а* средненебное; если же в конце слова произнести „настоящее", т. е. задненебное *а*, напр., бабушка произнести с последним *а* таким же открытым, как первое, то это будет совсем несвойственным правильному произношению „отчеканиванием" неударяемых звуков).

Это система московского аканья. Ее нарушают представители оканья или представители другой системы аканья; таковы произношения: жара. шагать *с а* вместо *ы*, или произношения из области так назыв. диссимилятивного аканья: въда, събака, скъкать при вадой, скачу, и др.

3. Буквы *е* и *я* в неударяемых слогах произносятся очень близко к *и*.

---

[1]) Предударными мы называем слоги, стоящие перед ударяемым, и считаем их от ударения к началу слова; заударными мы называем слоги, стоящие после ударяемого, и считаем их от ударения к концу слова.

Примеры. Везу, перевезена, вывезти, везете, вечер—*визу*, *пиривезина*, *вывисти*, *визёти*, *вечир*. Пятак, пятачек, принято—*питак*, *питачок*, *принитъ*.

Однако в следующих окончаниях слов *е* и *я* произносятся как звук *ъ*: в имен. пад. ед. ч. (воля, злая), в имен.—вин. ед. ч. (поле, злое), в род. пад. ед. ч. (поля), в окончаниях множ. ч. (-ям, -ями, -ях), в деепричастиях (сидя) и в некоторых других случаях (напр., двое, трое, чернее и др.).

Примечание. В предложном падеже: в поле произносится по общему правилу, звук близкий к *и*: ф *поли*, так же, как в городе, в деревне—в горъ*ди*, в *диревни*.

Буква *е* после *ж*, *ш*, *ц* в неударяемых слогах произносится, как *ы*: цена, целовать, пальцем—цына, цыловать, пальцым; жена, жестяной, шестой, шерстяной—жына, жыс'*тиной*, шыстой, шыр'с'тиной [1]). Но целую, поцелуй—цалую, пъцалуй.

Указанные произношения неударяемых *е* и *я*—одна из сторон того же многогранного явления в истории звуков русского языка, в широком смысле называемого аканьем. В речи уроженцев окающих местностей, хотя бы и утративших уже оканье, мы часто слышим отчетливое безударное *е*, особенно в первом предударном слоге: весна, прекрасный. Надо прибавить, что в московском говоре на месте *е* неударяемого, кроме звука близкого к *и*, может слышаться и чистое *и*: висна, вечир.

4. Слова коли, хоть, союз да (в значении „и") произносятся без ударения и со звуком *ъ*: къли, хъть, лебедь рак дъ щука. Но частица *да* в значении „пусть" произносится со звуком *а*: Да здравствует! Да ведают потомки.

5. Буква *и* в начале слова при тесном слиянии его с предшествующим, оканчивающимся на твердую согласную, произносится за *ы*: из избы, кот и повар, снег идет, смех и горе—изызбы, котыповър, с'некыдёт, с'мехыгор'ъ. Но после согласной мягкой или после гласной *и* остается: дочь идет, время идет.

Среди немосквичей часто можно встретить таких, которые произносят в указанных случаях вообще *ы*, но после *г*, *к*, *х* произносят *и*: изызбы, но: человек' идет.

6. Согласные *ж*, *ш*, *ц* всегда произносятся твердо, хотя после них и пишутся буквы *е*, *и*. Поэтому *ци* всегда произносится как *цы*, т. е. и в иностранных словах, как цирк, станция, революция, произносится *цы* совершенно так же, как в русских: концы, цыпленок.

7. Согласные перед *е* и *и* всегда мягки, кроме, конечно, *ж*, *ш*, *ц*, которые не бывают мягкими.

8. Звук *г*—взрывный. Нарушают это южновеликорусы (*г* фрикативное), белорусы и украинцы (гортанное придыхание).

9. Вместо звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными в середине слов произносятся соответствующие глу-

---

[1]) Значком ' обозначаю условно мягкость согласного.

хие: хлеб—хлеп, пробка—пропка; ров—роф, ловкий—лофкъй; сад—сат, лодка—лоткъ; нож—нош, ножка—ношкъ; глаз—глас, глазки—гласки.

Буква *г* в конце произносится за *к*: вдруг, луг, сапог, мог, книг—вдрук, лук, сапок, мок, кник, кроме слова *бог*, которое произносят *бох*; в середине же слов перед глухими *г* произносится за *х*: мягкий—мяхкъй, легко—*лих*ко, когти—кохти, кроме ногти, где произносят и *х* и *к*: нохти и нокти.

Звонкие согласные в подобных случаях могут слышаться у лиц украинского происхождения. Часто у них сохраняется только звонкое *в*, остальные уже перешли в глухие; звонкое *в* в указанных случаях наблюдается и у лиц южновеликорусского (напр., орловского) происхождения. Все они, а также уроженцы Белоруссии, вместо *г* в конце слова произносят не *к*, а *х*: вдрух, лух, сапох, кних. Это *х* часто остается у них единственной немосковской чертой и передается потомству.

10. Согласные перед мягкими согласными обыкновенно произносятся мягко. Например, надо произносить: бан'щик, д'верь, ден'щик, деф'ки (девки), ес'ли, ес'тес'т'венно, жен'щина, з'верь, кор'мить, кор'ни, кос'ть, лаф'ки (лавки), нын'че, нян'чить, пер'венец, пус'ти раз'бить, раз'ве, раз'вить, с'вет, с'мирный, с'мер'ть, с'тих, т'вер'дить, тон'чайший, фонар'щик.

Пределы и характер моей статьи не позволяют мне дать здесь более точной формулировки, которой этот пункт требовал бы.

11. Согласные в конце приставок перед гласным (хотя пишется *ъ*, произносятся мягко: в'езд, об'ем, об'явить, от'езд, под'езд, с'езд, с'ехать и т. п.

Примечание к 10 и 11. Вместо мягких согласных в указанных пунктах произносятся твердые представителями разных местных говоров; что касается мягкости в положениях, указанных в пп. 10 и 11, то ее теряют и младшие поколения москвичей под влиянием письма (отсутствие *ь*, на письме в случаях п. 10-го и написание *ъ* в случаях п. 11-го).

12. Буквы *б*, и *в*, *п* в таких случаях, как *бью*, *воробьи*, *вью*, *соловью*, *пьян*, *пью*, произносятся мягко.

13. Буква *щ* произносится, как долгое мягкое *ш* (а не как *шч*): щи, щетка—ш'ш'и, ш'шётка. Так же произносится *счастье*, *счет*—ш'шяс'тье, ш'шёт.

Все „правила", указанные ниже, могут нарушаться грамотниками без различия происхождения.

14. Двойное *жж* произносится мягко: жужжать—жуж'жять. Так же произносится: приезжать, дожди, дождик—прием'жять, дож'жик, дож'жи (а в един. ч.: дождь—дощь).

15. Слова что и чтобы произносятся што и штобы.

16. *Чн* в живых словах произносятся за *шн*: конечно, скучно, молочный, булочная, пустячный и т. п. произносятся: конешно, скушно, молошный, булочная, пустяшный. Но в словах книжного

происхождения произносится *чн*: бесконечный, сердечные болезни, точный, беспечный.

17. Окончание прилагательных -г и й, -к и й, -х и й, напр., долгий, широкий, тихий произносятся -г ъ й, -к ъ й, -х ъ й. Иначе сказать, произносятся так, как если бы было написано *гой, кой, хой*. Поэтому одинаково произносятся окончания: „долгий путь“ и „после долгой зимы“, „широкий ворот“ и „у широкой рубахи“, „тихий ход“ и „у тихой пристани“. Это, разумеется, не касается окончаний других падежей тех же слов: д о л г и е, т и х и х, ш и р о к и м и произносится, как пишется.

18. В глаголах на -г и в а т ь, -к и в а т ь, -х и в а т ь (натягивать, постукивать, помахивать) произносится *-гы, -кы, -хы*: натягывать, постукывать, помахывать.

19. Окончание глаголов *-сь* и *-ся* произносятся с твердым *с*: боюсь, боишься, боялся, боялись—боюс, боишсъ, боялсъ, боялис. Но в деепричастиях с ударением на конце надо произносить мягкое *с*: делаясь—делаяс, но: боясь—боясь.

20. Безударные окончания в глаголах *-ат* и *-ят* произносятся за *-ут* и *-ют*: дышат, душат, гонят, любят, просятся и т. п. произносятся: дышут, душут, гонют, любют, просются.

21. Глагольные окончания *-тся* и *-ться* произносятся как *-ца*: боятся, бояться—одинаково: боянца.

22. Нередко в группе согласных одна из них не произносится. Так, напр., следующие слова надо произносить без выделенных букв: гру*с*тный, здра*в*ствуй, изве*с*тный, ле*с*тница, ме*с*тность, несча*с*тный, по*з*дний, по*с*тный, праз*д*ник, преле*с*тный, сер*д*це, со*л*нце, стра*с*тный, сума*с*шедший, сча*ст*ливый, у*с*тный, хле*с*тнуть, часть*т*ный, че*с*тный, чу*в*ство, ше*с*тнадцать и др.

Здесь же место сказать и об иностранных словах, произношение которых на иностранный лад, сохраняемое далее, чем нужно, основано не на диалектических особенностях русского языка, а частью на буквенном чтении, частью на традиции.

23. Из пункта 2-го следует, что неударяемое *о* в отдельных словах может слышаться только в словах иностранных, недостаточно обрусевших, например, поэт, поэзия, форпост. То же надо сказать и об *а* в неударяемых слогах, кроме, конечно, первого предударного, например, Маккиавелли. Но обрусевшие слова следует произносить по пункту 2-му. Таким образом, не следует стараться выговаривать неударяемые *о* и *а* в таких, например, словах, как аристократ, аромат, бокал, декорация, комиссия, концерт, контракт, корсет, костюм, конституция, кошмар, момент, мотив, портрет, программа, профессор, революция, павильон, параллель, саквояж и т. п. Следует, значит, произносить: аристакрат, арамат, бакал, съкваяш и т. д.

24. Из пункта 7-го следует, что твердо произносить согласную перед *е* (иначе говоря, читать букву *э*) можно лишь в необрусевших иностранных словах, например, фрэнч, Тель, Нейман и т. д. Но никак не следует произносить твердо (э) в таких словах, как

декорация, демон, депутат, идеал, идея, корсет, лорнет, музей, Одесса, операция, революция, фанера, фланель и др.

25. Не надо думать, что двойные согласные, пишущиеся по привычке в иностранных словах, нужно так и произносить. Наоборот, во многих очень употребительных словах двойная согласная—признак дурного произношения. Так, нужно произносить с одной согласной: аккорд, аккуратно, аллея, аппарат, класс, классический, комиссар, комиссия, корридор, терраса и мн. др. Многие слова, особенно такие, с которыми еще не вполне освоились, допускают произношение с двойной согласной или двоякое произношение (с одной и с двойной), напр., коллектив, ассоциация и др. В случае колебания нужно склоняться к произношению с одной согласной.

В заключение я должен сказать следующее. Только что изложенные мною „правила" представляют собой перечень главнейших черт московской речи, которую общепринято считать образцовой. При установлении общерусского сценического произношения, о чем я высказал пожелания выше, в основу, конечно, должна лечь эта московская речь, однако, думаю, что уже не все детали ее и не все пункты, изложенные мною, имеют право в настоящее время считаться общерусскими.

Редакция, с особым удовольствием печатая статью Д. Н. Ушакова, приветствует прежде всего самую постановку вопроса, который уже давно настолько назрел, чтобы стать предметом внимания всех интересующихся русской речью. Редакция присоединяется также и к большинству положений автора, однако полагает, что некоторые из них должны еще дальше обсуждаться. Сам автор не думает (см. выше), что московское произношение без дальнейших разговоров должно считать общерусским. Bühnendeutsch не есть какое либо местное произношение а есть некая, может быть несколько туманная норма, к которой стремятся все немцы. Отыскать эту норму, эту равнодействующую для общерусского языка—вот важная практическая и вместе глубоко научная задача русской орфоэпии.

Повидимому, подготовительные работы в этом направлении уже и ведутся в Москве при Академии Художественных Наук, поставившей, по инициативе автора настоящей статьи, вопрос о созыве всероссийской конференции по установлению сценического произношения. Редакция Русской речи горячо приветствует эту идею и в связи с этим предполагает и впредь печатать статьи, посвященные вопросам орфоэпии.

О СЛОВЕ «АХИНЕЯ» В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Л. В. Щерба

§ 1. Слово—„ахинея“ в русском литературном языке значит: вздор, чепуха, чушь, нелепость, бессмыслица, глупости (ср. Даль, т. I, 78). Часто употребляется в застывших „фразах“: нести ахинею, городить ахинею, пороть ахинею, молоть ахинею, плести ахинею.

У Тургенева в „Записках Охотника“, в рассказе „Каратаев“: „Да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порете?“

В „Касимовских повестях и преданиях“, пис. А. А. Павловым (Москва, 1836 г.), ч. II—разговор купцов из предания: „Таинственный заступник“: „Помилуй, Павел, что за охинею городишь ты?..“ (28 стр.).

В „повести Маркиза Глаголя о том, как господа Петушков, Цыпленкин и Тетерькин сочиняли повесть“ (Сын Отеч., 1843, т. IV): „Ну, такую ахинею давеча несли, что так и хотелось плюнуть“ (26 стр.).

В „Словаре Акад. Российской“ (1789 г.): „Он мелет самую ахинею“ (ч. I, 62). Ср. выражение—„врать ахинею“: „Сержусь на журналы, которые врут ахинею“ (Кн. Вяземский. Старая записная книжка. X, 104) [1]).

§ 2. Этимология и история слова ахинея считаются не вполне ясными. Однако, все исследователи были согласны в том, что это слово—заимствованное из греческого языка. Пути проникновения

---

[1]) Вот еще серия примеров:

„Что за ахинея, Господи! Хуже стихов.“ (Тургенев. „Рудин“).

„С первых слов он понес ахинею страшную“ (Дружинин. „Поленька Сакс“).

„Ведь как ни просты читатели, а наверно из девяти десятый поймет, что дело то неладно, что это—не история, а какая то ахинея с моралью“ (Кокорев. Очерки и расск., III, 226).

„Видишь: он говорит ахинею“ (Судовщиков. „Неслыханное диво“).

„В прямо ахинийной картине критика видит глубочайшую любовь к молодежи и к морю“ (Буренин. Критич. оч., Нов. Вр. 1903 г. № 9714).

Ср. у Андрея Белого в „Московском чудаке“: „...в зеркале же встретил табачного цвета раскосые глазки; скулело оттуда лицо; распепёшились щеки; тяпляпился нос; а макушечный клок ахинеи волос стоял дыбом“. (12 стр.). С. П. Жихарев определял свою трагедию „Артабан“, как „смесь чуши с галиматьею, помноженныя на ахинею“.

рисовались разные. Предложены два объяснения. Разбор их представляет чрезвычайный методологический интерес.

I. Одно мнение господствует в русской литературе. Оно идет от любителя древностей Т. И. Филиппова, неспециалиста-филолога, и канонизовано Я. Гротом. В „Филологических разысканиях“ (т. II, 329 стр.) Грот, говоря о фонетической „переделке заимствованных русскими слов“, указывает на „смешение“ звуков *п*, *ф*, *х* и приводит примеры: Осип, Степан, панафида, Прокофий, а х и н е я. И в ахинею вбивается кол примечания: „Ахинея—вероятно такое же семинарское слово, как, напр., катавасия, ерунда, ермолафия. Кажется, можно согласиться с мнением Т. И. Филиппова, что слово это произошло от имени города Афин, как заставляет думать стих из акафиста божией матери: „Радуйся, афинейские сплетения растерзающая“ [1]).

Эта этимология не возбудила никаких сомнений ни у кого, кроме М. Р. Фасмера, которого она „не удовлетворила со стороны значения“ (М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды, т. III, 37 стр.).

Фонетическое оправдание а х и н е и из предполагаемой А ф и н е и осуществлялось ссылкой на замену „во многих говорах“ звука *ф* звуком *х*. Для большей убедительности Д. К. Зеленин присоединил следующее соображение: „В данном же случае такая замена могла также произойти под влиянием народной этимологии *(Volksetymologie)*, а именно через ложное применение к междометию *ах*!“ (Зеленин. „Семинарские слова в русском языке“. Р. Фил. Вест., 1905, № 3, 113 стр.).

Все внимание исследователей было направлено на построение семантического ряда, который соединил бы афинейскую мудрость с ахинеей. „Словарь русского языка, составленный 2 Отделением Имп. Акад. Наук“, сразу ставил знак равенства между выражением: „афинейская мудрость“, которое, по заявлению составителя, часто встречается в старинных памятниках, со значением: „ученый сумбур, вздорная речь“ (т. I, 86) и а х и н е е й.

М. И. Михельсон в своей книге: „Ходячие и меткие слова“ (СПБ. 1896) пытался истолковать семантику слова—„ахинея“ в предметно-бытовом плане. И для этого припоминал „Атеней—храм Афины, где ученые и поэты читали свои произведения, далеко не всем доступные“. Но ведь те, кто говорили „ахинею“, могли ничего не знать об этом храме. Михельсон на всякий случай тогда указывал на Athenaeum, как на обычное название альманахов, „так что афинейские мудрости, многим недоступные, могли казаться сумбуром и—образовать слово ахинея в смысле—чепуха“. Кстати уже для сравнения Михельсон вспомнил и язык офеней (другим не понятный).

Но эти попытки найти мотивировку значения—„афинеи“, как бессмыслицы,—в непонятности ученых учреждений, связанных с созвучными терминами, были явно неудачны.

---

[1]) Ср. другие цитаты и примеры в книге Шафиро. Вопросы газетной культуры.

Преображенский вернулся к мысли о жаргонном характере этого слова, следуя за Гротом и Зелениным: „Без сомнения, слово создалось в среде духовенства“ (Поправки и дополнения к I вып. „Этимол. слов.“). Он строил такую лестницу перехода значений, находя ее достаточной: „афинейский — афинский — греческий — философский — непонятный“ (Эт. сл., т. I, 10 стр.). Вместе с тем Преображенский решительно отверг то словопроизводство „ахинеи“, которое было предложено Matzenauer'ом и подтверждено Фасмером.

II. Matzenauer (L. F. VII) ахинею сопоставлял с греч ἀχηνία. М. Фасмер сначала обнаружил скептицизм к этой этимологии (Гр.-сл. этюды, т. III, 31 стр.), но в „поправках и дополнениях“ к ней склонился: „слово ἀχηνία—„нужда, недостаток“ встречается, напр. Aeschyl, Choephoroi 301, Agamemnon 419. Я теперь склонен его считать источником русского слова, хотя мне неизвестны случаи его употребления в позднейших текстах“ (233 стр.). Таковы самые весские рассуждения об этимологии слова „ахинея“.

§ 3. Мнение Matzenauer'а и Фасмера легко разрушить. Греч. слово не называло новой „вещи“, которая входила в обиход вместе с названием. Следовательно, приходится предположить, что оно осталось в текстах непереведенным и затем сделалось символом бессмыслицы. Но это предположение, с одной стороны, не вяжется с отсутствием этого слова в древне-русских рукописных текстах [1]); с другой стороны, не объясняет, почему именно данное непонятное чужое слово (которое в контексте все же „нужду“ должно было обозначать) вошло в русский литературный язык для символизации нелепости, вздора. А кроме того, нет никаких надежд связать ахинею с греч. словом ἀχηνία, потому что это слово, повидимому, является поэтическим новообразованием Эсхила и в традицию литературной речи не вошло. В самом деле, оно отмечено лексикологами лишь в Хоэфорах 298 (301), и Агамемноне 426 (419) „Armuth, Mangel, Entbehrung“ (χρημάτων, ὀμμάτων), у Эсхила и в фрагменте Аристофана (φῖλων) 91, в том месте, где ощущается пародическая направленность против Эсхила.

Сама этимология этого слова на греческой почве оказывается затруднительной, так как обычное производство его от ἀχήν,-ένος,ὁ,ἡ „arm, dürftig, entbehrend“ (Pheocrit 16.33) игнорирует разницу в количестве начальной α [2]). Итак, ахинея никак не связывается с греч. ἀχηνία.

§ 4. Этимология ахинеи из афинеи должна выдержать фонетическую, сравнительно-морфологическую и семантическую проверку, чтобы остаться. Но при всех перекличках спотыкается.

---

[1]) Акад. А. И. Соболевский сообщил мне, что он не встретил этого слова и в „статейных списках“ XVI—XVII, отражающих литературную речь русского интеллигента той эпохи.

[2]) Лексикон Lidell-Scott'а утверждает, что в ἀχηνία первая α всегда краткая. Лексикон Пассова признает краткость α этого слова в „Агамемноне“ Эсхила.

I. Если не обращаться к помощи междометия *ах* (а лучше—не обращаться), фонетические недоразумения начинаются сразу. В литературном языке, в его вульгарных говорах преобладает тенденция к замене *х* через *ф* (куфня, панафида; ср. филин, финифть, кафельная печь), хотя в ряде имен и фамилий есть отголоски и обратной замены—Дорохов, Астахова, Хавронья и т. п. Очевидно, это—отслоения разных диалектических влияний. В словах, связанных с заимствованной морфемой—А Ф И Н—никаких фонетических превращений не замечается. Следовательно, необходимо предположить, что слово—афинея, оторвавшись семантически от „афинейской мудрости", на какой то диалектической почве претерпело изменение *ф* в *х*. Считается, что народным говорам это слово чуждо. Оно известно будто бы только из словаря Żelechowskiego — Ruthenisch - deutsches Wörterbuch (Lwiw, 1886, 7 стр.). Однако, в других малорусских словарях оно не показано — ни у Поповича, ни у Кмицикевича и Спілки, ни у Гринченка, ни даже в последнем словаре Украинской Акад. Наук. Ясно, что Желеховским оно взято из литературной традиции галицких москвофилов [1]). Так совершается возврат к великорусскому литературному языку. Ведь специфической тенденции к фонетической замене *ф* чрез *х*, хотя бы для иронического словоупотребления в жаргоне духовенства допускать не приходится. Остается фантазировать, что слово афинея возникло где то в среде провинциального духовенства и, потеряв связь с книжной традицией и с словами—„афины, афинейский" и т. п., приобрело народно-диалектический облик—ахинеи. В этой то форме к XVIII в. оно проникло в литературную традицию и в словаре Акад. Российской (1789) квалифицировано, как „простонародное". Во всяком случае, приходится признать, что ахинея—единственное, чисто книжное слово, не несшее широкой номинативной функции по отношению к „вещам" быта, с заменой *ф* через *х*. С такими именами, как Хавронья, Остах, Дорох и т. п., ведь его нельзя сопоставлять.

Результаты этого фонетического экзамена для слова—ахинея едва ли можно считать удовлетворительными.

II. В сравнительно-морфологической плоскости затруднений встречается меньше. Слово „ахинея" представляется сложным из двух морфем—а х и н (в соответствии с а ф и н) и *ея*.

Но что такое — *ея*, как словообразовательный суффикс? В этой морфеме в истории литературного языка слились суффиксы—*ьја* (верѣя; по предположению Шахматова [Очерк, 263],—также веретея и колея), *ија* (с его фонетическими заместителями — *ьја*, *ея*. Ср. у Васильева Изв. ОРЯС, X, 2, стр. 224). Для подтверждения его уместности в слове а ф и н е я достаточно ссылки на „Разыскания по вопросу о грамматическом роде"

[1]) При возникновении этого слова на Украинской почве могли бы возникнуть недоразумения в истолковании ударяемого *е*, соответствующего греческ. αἶος. Ср. Васильев. Изв. ОРЯС., X, 2, стр. 220—221.

Эд. Вольтера (СПБ. 1882). „Форма *эйа*", пишет автор „повидимому свойственна только великорусскому наречью и здесь распространяется и на заимствованные слова"... (192 стр.). Морфологический анализ кажется исчерпанным [1]). Но это обман. Фактически безответных вопросов выплывает целая стая. Каким путем возникла форма—„ахинея", если она не явилась непосредственно в соответствие греч. ἀθηναῖα? От какого слова она произведена—от Афины, афиней, афинейский или иначе как? [2]) Можно ли привести другие примеры такого словопроизводства на русской почве? Суффикс *ея* известен ли в функции морфемы, образующей от прилагательных или существительных единично-конкретных имена опредмеченной отвлеченности? На этот последний вопрос, кажется, даже при современном состоянии учения о словообразовании можно ответить отрицательно. А от этого начинает шататься и морфологическое благополучие „ахинеи".

III. С семантической точки зрения все построение ахинеи на афинее оказывается воздушным, без всяких документальных, исторических и диалектологических подпорок. Никаких конкретных указаний на то, что это слово зародилось в жаргоне духовенства нет. И в самой ахинее нет ничего специфически духовного. А между тем, ведь только при наличии этих предварительных данных, могли бы иметь значение ссылки на „афинейские сплетения", о которых говорится в акафисте богородице. Конечно, можно допустить и обратный логический ход, если доказать, что в церковно-книжной традиции слова—афинейский, афины, афинский—в разных фразеологических комбинациях постоянно и естественно сближались с значениями „бессмыслицы", „глупости" и т. п. [3]). Но тогда было бы законно ждать отслоений этого значения в употреблении слов—афинейский, афинский—и даже ожидать встречи с словом афинея, как фонетическим дубликатом ахинеи. Ведь, если „афинейское сплетение" из акафиста богородицы (кстати сказать, входившего в состав „иноческого келейного правила" и в церковном обиходе очень употребительного) по имманентным семантическим законам в жаргоне духовенства должно было родить афинею и ее вульгарного двойника—„ахинею", то возникает недоумение: почему не сохранилось отголосков этого процесса ни в письмен-

---

[1]) Проф. Д. Н. Ушаков говорил мне, что ему слово ахинея представлялось, как буквальное (кроме *ф*) соответствие греч. ἀθηναία (или ἀθηναῖα) в жаргоне бурсы. Но нет никаких данных в пользу этого мнения; напротив, есть противоречащие факты.

[2]) При обсуждений моей статьи в Диалектологич. Комиссии акад. А. И. Соболевский настаивал, что форму—афинейский—следует признать малоупотребительной.

[3]) Едва ли можно усматривать параллелизм в судьбе таких выражений, как „куралеса" и „алелуя". Ср. у Сумарокова: „Многие слова превращали мы совсем в противное. Кирие, елейсон и аллилуйа: претворила невежественная чернь в куралесу и алелую, чему и благородные следуют: „Он поет куралесу и несет алелую". Полное собр. сочин. М. 1787 г. ч. X, стр. 28.

ном, ни в разговорном употреблении а ф и н е и у тех слоев провинциально-сельского и городского духовенства, которым чужд был переход *ф* в *х*?

В семантическом плане гораздо легче связать ахинею с офенским языком. Но это уже будет новая этимология, намеки на которую имелись в филологической литературе русской до тех пор, пока само слово о ф е н я с производными выводилось из Афин (или из г. Офена и венгерских ходебщиков. Ср. Даль)[1]. Фонетически неудобств не больше, чем в производстве из а ф и н е и. О ф е н е я также легко при отсутствии точного диалектологического прикрепления могла превратиться в а х и н е ю как и а ф и н е я.

Самое же главное: нет никаких оснований отрицать существование слова—а х и н е я в народных говорах.

В корректурных экземплярах предполагавшегося нового издания I тома Академического словаря — под словом а х и н е я можно найти такие указания: „в н а р о д н о м языке—чушь, Тороп. (Прогр. № 233); чепуха, Кашинск. (Смирнов); вздор. Какую ахинею ты городишь, что и слушать то не хочется. Енот. (2-е Доп. к Оп.)".

В материалах Постоянной Словарной Комиссии при Академии Наук диалектологических данных еще больше:

„о х и н е я" — вздор, болтовня, нелепость. С и б и р ь (Черепанов).

„Не с ума ли тебя, парень, спятило, — молвил он, — что ты такую о х и н е ю городишь?" К и р е н. И р к у т с к. (Архив Геогр. Общ. Б. IV, I).

В Ладожск. уезде (Кедров. Жив. Ст. 1899): о х и н е я—1) большая куча чего нибудь. „Эку охинею воды то сдержал ты", 2) бессмыслица, чепуха. „Ну, занес ахинею!"

Эти факты говорят, что нет нужды к грекам ходить за словом „а х и н е я". Этимологию Филиппова-Грота-Зеленина-Преображенского следует признать сомнительной.

§ 5. Вспоминается методологический принцип, выставленный в Словаре Дюканжа: Qui linguarum vulgarium etymologias inquirit, peculiaria provinciarum idiomata probe noscat necesse est, cum etymon quod a Graecis aut Hebraeis, vel a longuinquis petit regionibus, a vicinis saepe repetendum sit. (Ducange. Glossarium. Préface, LXXIII. 1678 г.). А, как дополнение к нему, звучит заявление А. И. Соболевского: „Наши сведения по русской диалектологии так скудны и так несовершенны, что можно решительно говорить только о том, что в них е с т ь"[2]. Поэтому не было достаточного основания у русских лексикографов в подтверждение

[1]) Ср. у Греча в „Чтениях о русском языке" такую характеристику канцелярского жаргона: „приказные составили свой собственный а ф и н с к и й я з ы к, чуждый непосвященным в их таинства" (Греч. Чтения, т. I, стр. 150).

[2]) См. рецензию на мою книгу: „Исследования в области фонетики северно-русск. наречия". Изв. ОРЯС., Т. XXVIII.

заимствования а х и н е и ссылаться на отсутствие этого слова в народных говорах.

Сомнительный характер предложенных этимологий а х и н е и разрешает исследователю отправиться на поиски новых объяснений в обратную сторону. Указания диалектологии предписывают не заходить далеко, а остановиться на русском языке. И тут находятся родственные образования.

У Лескова в „Полунощниках“ героиня говорит: „Я даже заплакала, потому что как же быть? Все, что я претерпела, значит х и н ь ю п о ш л о“ (гл. VI).

Любопытно, что Михельсон в своей книге: „Русская мысль и речь“ (СПБ, 1912) это выражение сопоставляет с тем материалом, который он поместил под словом а х и н е я. А среди него—иные отголоски х и н и. Из Даля (впрочем, без ссылки) взята цитата: „такую хинь занес, что уши вянут“.

В „Деревенских письмах“ (Отеч. Зап., т. CXXIV) читается: „именье все хинью пошло“.

В „Дворянском гнезде“ Тургенева человек Лаврецкого—Антон рассказывал барину: „А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; все у них пошло *хинею*“...[1]).

Нет никаких оснований слово—х и н ь—резко обособлять от семантического гнезда—„о х и н е и“. Фонетическая общность основной части (х и н-ь и о-х и н-ея), близость значений требуют их сопоставления.

Правда, большая часть примеров представляет фразу: „п о ш л о х и н ь ю“, т. е. прахом пошло. Так в О б о я н с к о м г о в. К у р с к. г у б. (Машкин): „хинью—без пользы, вотще, даром. Дасталась ни зашто и пашло хинью“...

В Т у л ь с к о й г у б.: „все пошло у него хинью“, т. е. пропало ни за что, прожито по пустому (А. Г. О. XLII. 49. А. Иванов. Словарь Тульской губ.).

Однако, в „Словаре“ Даля читается (т. IV): „хинь—ж.—орл., курск., яросл.—ахинея, гиль, чушь, чепуха, вздор, пустяки. Такую хинь занес, что уши вянут. У него все хинью пошло—даром, на ветер, без пользы и толку“.

В опыте областного великорусского словаря, изд. 2 Отд. Имп. Ак. Наук (СПБ. 1852), было напечатано: „х и н ь, и—с. ж.—гиль, пустяки. Орл. х и н ь ю в значении без пользы, по пусту, без толку. Взято ни за что, и пошло хинью. Курск“. В „Смоленском областном словаре“ В. Н. Добровольского записано: „хинь—1) пропади (от глаг.): хинь, твоя голова, пропади; 2) пустяки. Дело хинью разыйдется. Рос. у. д. Тананыкино“ (стр. 958).

На этом фоне различие употребления слов—х и н и и а х и н е и—не может затушевать их семантического родства, близости их значений в народных диалектах.

---

[1]) Курсив самого Тургенева. Гл. XXI.

Оба слова свойственны лишь великорусским говорам. По происхождению и то и другое—в литературной речи „диалектизм". Но судьба их здесь различна. Слово „ахинея" поднялось в „верхи" литературного языка, вошло уже в XVIII в. в его норму, сперва с оттенком „простонародности", потом до некоторой степени его стерло. Лишь фразеология (*городить... пороть... молоть... плести... нести...*) упорно поддерживает вульгарную „экспрессию" этой лексемы.

Слово же „*хинь*" (даже в застывшем выражении *хинью пошло*) в литературном языке XIX в. у некоторых писателей (повидимому, с эпохи „натуральной школы", т. е. с 40 годов) было сигналом „вне-интеллигентской", жаргонной речи у персонажей из „низких" социальных сфер. В общий литературный язык оно не вошло. С „ахинеей" оно не могло сочетаться в одну группу, так как этому мешали различия в социально-экспрессивной окраске (как бы разный уровень их)—в употреблении—и морфологическая оторванность (слово „*ахинея*" ведь ощущалось в своей основе—*ахин*—, как единство, которое фонически не влеклось необходимо к *хини*; к тому же, повидимому, в литературно-художественном употреблении было известно лишь сочетание *хинью пошло*, где *хинью* выполняло функции обстоятельственного наречия, тяготеющего к семантической изоляции. Ср. *ехать верхом, опрометью бежать, стать дыбом, пойти прахом, хватить залпом* и т. п.). Таким образом, в литературном языке слова *ахинея* и *хинь* не соприкасались. Поднявшись до него в разные эпохи, они в его составе разместились по далеким одна от другой сферам [1]). Итак, лексическое родство их устанавливается за пределами литературной речи. Здесь надо искать и других соответствий.

§ 6. От слов—*охинея, хинь*—нельзя отделять „великорусский", народно-диалектический глагол—*хинить* и производные от него формы с приставками, в их числе и *охинить*.

В „Опыте областного великорусского словаря" (1852 г.) можно найти: „*хи́нить*—гл. д. (сов. *охи́нить*)—хулить, охуждать, не одобрять. Его напрасно хинят. Арх. *Шенк*. Волог. *Верхов.* ж. Тверск. Каляз." (247 стр.). „*Охи́нить*—сов. гл. *хинить*—охулить. Арх. *Шенк*".

У Даля все это повторено: *охи́нить*—арх.—охаять (ср. также под словом—*хи́нить*).

Необходимо отметить варианты с ударением на *-и́ть*:

---

[1]) Слово—„ахинея", начиная с Словаря литерат. языка 1789 г., неизменно помещается во всех лексиконах церковно-российской речи с пометкой „простонародности". Так. у П. Соколова (Общий ц.-слав.-росс. словарь, 1834 г., ч. I): „ахинея"—ж. простонародное—вздор, чепуха, нелепость слов; нести ахинею, т. е. говорить вздор, нелепицу (31 стр.). В словаре ц.-сл. и русск. яз. Акад. Наук (1847 г.): ахинея, и—с. ж.—вздорные, нелепые слова, бредни, чепуха, вздор. Нести ахинею (16 стр.).

хинúть—хулить, бранить (то же, что хаять). Вытегорск. у. (Филимонов): нѐцё хинúть девку; хороша *е* [1])...; хинúть—охуждать что. Шадр. (Третьяков).

Этот глагол можно найти в словарях—областного Олонецкого наречия—у Куликовского:

хúнить—хаять;
хúниться—смеяться;

—областного Архангельского наречия—у Подвысоцкого, под словом—хаять, хаить (соверш. в. похаять, похаить, охаять, охаить)—хулить, осуждать, порицать:

в Шенк. и Онежск. у. говорят также: хúнить, охúнить. Быть может отсюда употребит. в Онежск. у. слово—расхúнить что-либо, напр., свадьбу (182).

Похúнить, охúнить и хúнить в Бежецк. у. (по указанию Л. В. Щербы).

Лексема хинить имеет ближайших родичей в сербо-хорватском и словинском языках: Tак Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1887—1891 г. Dio III, obr. Budmani) посвящает несколько страниц обозрению глагола—hiniti, hinim—impf.—в значении—decipere, fallere, fingere, simulare; сущ. hina—fraus, prijevara, laž и производных от них лексем. Словинское—híniti se, hinim se—с указанием значения—лицемерить—можно найти даже в Словинско-русском словаре М. Хостника (ср. также хотя бы у Миклошича. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum — хынити, хынѣние, — стр. 1102,—с определением сферы употребления; ср. у Er. Berneker'a. Slaw. Etym. Wörterbuch, 413 стр.).

Лексема—хинить (охинить), к которой можно привлечь, как отглагольное образование, слово—охинея, не является фонически изолированной формой в народных диалектах. У нее есть омонимы. Ведь слово—охинея—может стоять в связи не только с глаголом—хúнить, охúнить, но и с глаголами—хинеть, охинеть, также встречающимися в великорусских говорах. Необходимо произвести семантическую классификацию в пределах этих созвучных словесных сфер, чтобы или отделить от них всех, или решительно притянуть к какой нибудь из них слово—охинея.

§ 6. Устанавливаются три созвучных с глаголом—хинить (охинить) категории диалектических слов, в которых пока за отсутствием данных затруднительно с полной ясностью разобраться.

1. Известны единичные примеры лексемы—хинеть со значениями „бедствовать из-за средств, хиреть".

В „Материалах для Вятского говора" Н. М. Васнецова дана как будто сюда относящаяся форма: хинéть—скудать; как бы

[1]) То же на карточке Пост. Слов. Ком. Акад. Наук со ссылкой на А. Г. О. VII, 38. Кичин. Историкостат. и этнограф. Зам. (Вологод. Кадн у.).

хныкать, печаловаться от бедности, бедствовать из за средств. В пояснение приводится изречение: „Хоть и не богаты, да не хинеют соседи“ (334 стр.) [1]).

Других примеров употребления глагола—хинеть с тем же кругом значений мне найти не удалось.

В Шадринск. у. говорят (прогр. № 86): „не хинял, не хинял, да и хезнул, т. е. не хворал, не хворал, да так захворал, что и помер“.

Быть может, сюда же надо отнести лексему: „хиня—ничтожество“ (Пам. книга Курск. губ., 1893, Отд. II, стр. 9) [2]). Впрочем также ср. в украинск. языке: хиндя, -ді, ж. лихорадка. Хай тебе хиндя попотрясе (словарь Украинск. яз. Б. Гринченка, т. IV, 1909, 398 стр.).

Эта сфера слов, скудно представленная примерами, остается неясной и морфологически и семантически. Возможно, что она находится в этимологическом родстве с группой chyba (хиба)—ошибка, недостаток, нужда (ср. „Slaw. Etymol. Wörterbuch“ Berneker'a, 412—413 стр.).

---

[1]) Тут узел вопроса запутывается. Показание Васнецова (334) вызывает много недоразумений. Кажется, им спутаны две лексемы—хинéть и хи́нькать. Хи́нькать (иногда даже ханькать. Ср. Богораз. Колымское областное наречие. Словарь, 151)—лексема, широко распространенная в народных говорах. Ее значения—хныкать, плакать. Указания на нее можно найти, напр., в сообщениях из Вост. Сиб. (Прогр. 160), в Ар. Геогр. Общ., VII, 38 (относительно Вологодск. губ., Кадниковск. у.), в Вологодск. губ. Вед. 1866 г. № 24, стр. 226 (относительно Сольвыч., Волог.), в Зап. Каз. Унив., 57 г., II (Новг., Белоз.) и мн. др. Ср. в „Опыте областного великорусск. словаря“ (1852): хинькать—гл. ср.—плакать тихомолком, хныкать. О чем ты хинькаешь? Арх. Арханг. Шенкурск. Волог. Вологод. Сольвычегодск. Пермск. Верхот. Усольск. Тобольск. (247 стр.).

Слово—хинькать не чуждо и другим славянским языкам. Ср. „Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika“ (Dio III. obr. P. Budmani): hînkati (605 стр.).

У Соболевского в собрании „Великорусские народные песни“ (VII, 455 стр.) записано:

Заинька, ты не плакал ли?
— Плакал, плакал, пане мой.
Скажи, Заинька, как же плакал ты?
— Хинь, хинь, пане мой. (Новгород).

Ср. в А. Г. О. I, 53, в сообщении Быстрова „Свадебные обряды и игры г. Мезени, Арханг. губ.“:

Заюшка, скажи, как ты плакал,
Серенький, скажи, как плакал?
Хини, хини, парень мой,
Хини, хини, сердце мой.

Глагол хинькать встречается там, где отсутствуют лексемы—хинь, охинея, хинить, хинеть (напр., в Колымском наречии), и справедливо другими лексикологами (напр., Подвысоцким) обособляется от них. Поэтому слово—охинькать—можно отвести в сторону: к объяснению охинеи его анализ не может ничего прибавить. А из показания Васнецова можно исключить значение: „как бы хныкать“...

[2]) Быть может, „гиндобка“—ругательное слово (из „Смоленск. област. словаря“ Добровольского) надо читать: хиндобка?

2. Другое гнездо слов, которое фонически близко к глаголу—хинить, образует лексема—хинáть, хинýть с производными образованиями.

Это гнездо определяется такими указаниями.

В „Словаре белорусского наречия" Носовича значится:

Хинáць, наю—д. повт.—и хинýць, нý; похинýць—д. опр.—наклонять. Не хинай стола. Не хини головы. Похини ветку, сук. Хинýцьца, ýся, сов. похинýцьца, схинýцьца—гл. в.—наклоняться, клониться. Одзин к другому не хинуцца. Хата наша хинецца.

Дмецца цеща, дмецца
Да к нам не хинецца.
Коло припечку трецца (678 стр.).

Охинáць, сов. охинуць—гл. д.—1) укрывать. Охинаць на зиму прищепки соломою. Охини полою дзиця. 2) Осенять. Березка охинаець, охинула могилку. Охинацьца ковнером от ветру (386 стр.).

В „Смоленском областном словаре" Добровольского:

„Охинáться—наклоняться. Дерева охинаитца на етыт бок". Охиниться—наклониться. Елычка ты, сосенка, ахинись и туды и сюды, на усе чатыри стороны. Духов. у. (566 стр.).

К этой лексической категории легко подобрать параллели из польского языка.

В Słownik'e Lindego: „chynąć—cz. jedntl.—chylić, kłaniać, nakłaniać, sktaniać, neigen, beugen" (т. I, 282). Ср. в „Słovnik'e języka polskiego" (под ред. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Wład. Niedźwiedzkiego. I, стр. 313), и ochynąć (III, 552).

§ 7. От этих трех лексических рядов—хинить, хинеть и хинать (хинýть) следует резко отделить глагол—охинеть, в котором начальное *о*, повидимому, нельзя считать префиксом. Так уже в „Опыте областного великорусского словаря" (СПБ. 1852) Акад. Наук читается такое определение: „охинéть—гл. ср. сов.—разбогатеть. Тверск. Новоторжск."

У Даля: „охинéть—Тверск.—разбогатеть (2004) с цитатой из „Переписки" Державина: „Охинееши бо скоро богатством" [1]).

В корректурном оттиске Словаря русского языка, издаваемого Акад. Наук, указано: „ахинеть, -ею—изобиловать. Крестец. у.—с вопрошающей ссылкой: охинеть.

С. И. Ожегов, мой ученик, сообщил мне такие выражения из говора с. Подсопочья, Старо-Русск. у.: „Все охиневши ягодами"... „охинело от брусницы"... „мужики охинели сеном"... „охинели деньгами". Подобные же примеры извлекаются из материалов Постоянной Словарной Комиссии при Акад. Наук:

[1]) Ср. у Грота в „Филологич. разысканиях", т. I, стр. 444: охинеть. Разбогатеть. Существование этого слова, заподозренного у Даля вопросительным знаком, подтверждается выражением Державина в одном шуточном письме: „охинееши бо скоро богатством". (Соч. его, т. V, стр. 661)".

Охине́ть — разбогатеть от такого то дела. Кадниковск. (программа № 26);

Охине́ть — разбогатеть; охинели сеном. Лужск. у. (прогр. № 67);

Охине́ться — из бедного стать богатым. Что же ты бохвалишься, что охинелся? Петерб. Петергоф. у. (№ 679).

Едва ли можно сомневаться в связи с этим глаголом—слова: „охинея"—в значении: большая куча чего нибудь. Так в Ладожском у. (Кедров. Ж. С. 1899): „охинея—большая куча чего нибудь. Эку охинею воды то сдержал ты" [1]).

Соответствий этому слову в других славянских языках как будто не наблюдается, по крайней мере, семантически очевидных. Во всяком случае, извлечь явные параллели из словарей мне не удалось.

Можно предположить, что лексема охине́ть—заимствование в великорусской среде из финских языков.

В сущности и морфология этого слова иная. Ведь рядом с охинеть не указано формы—хинеть. Следовательно, о- нельзя выделить в этом слове, как русский префикс, обозначающий „круговую", так сказать, определенность действия.

Возможные финские соответствия извлекаются из таких данных: ahne—avare, cupide, avide; ahneus—avarice; ahnaus—cupidité, avidité, voracité, gloutonnerie [2]).

§ 8. Таким образом, если оставить в стороне охинеть в значении разбогатеть, изобиловать, как лексему заимствованную (с производным—охинея—куча) и скудно представленную сферу—хинеть в значении скудать (и хворать?), то пред нами окажутся два лексических ряда: хинить (охинить)—порицать, хаять—и хинать (хинуть)—гнуть, наклонять. Berneker пытается скрепить их в одном этимологическом узле, относя хинить и хинуть к группе Chylъ—русск. хилый (Slaw. Etym. Wörterbuch, 413 стр. [3]).

Морфологическая сторона вопроса не вызывает больших сомнений.

Но трудно справиться с семантикой, потому что звенья семантических переходов не даны в живых диалектологических свидетельствах. Если верить этимологической связи — хулить и хилить—(ср. у Berneker'a), то это—аналогия [4]). Но, кажется, в соот-

---

[1]) Из материалов Диалектологич. Ком.

[2]) Финнологической справкой я обязан Эрике Ант. Лемберг. Просмотрев все финно-русские и финно-французские словари, я нашел те же данные. Более подробных указаний от ленинградских финнологов я не получил.

[3]) „Chyńǫ, chyniti - r. dial. хинить, tadeln, schelten. Skr. alt. hina, hinba (*chynьba). Betrug; hiniti, betrügen, heucheln. Sl. hiniti, täuschen, betrügen;—se sich verstellen, heucheln; hinba, hinja, Betrug, Verstellung. Wohl zu chylъ, chyńǫ, chynǫti; kaum zu chyba sd. (gegen Matzenauer, L. F., 8, 9). Г. А. Ильинский стоит за связь с chyba.

[4]) Конечно, ссылкой на аналогии в семантических связях можно оправдать переход значений—от „гнуть, клонить" к „осмеивать, хаять". Ср. кривить и „крив-

носительных семантических категориях можно указать и живые параллели сходных смысловых вариантов. (Ср. в сербо-хорватском разные значения—hiniti и в польском—ochynąć (się) с частичным совпадением их семантических сфер). Однако, в современных великорусских говорах хинить является уже обособленной лексемой, омонимической с сферой хинуть, но повидимому с нею не сцепляемой семантически даже в системе одного говора (ср. в Смоленском говоре).

Итак, хинить, охинить—вот единственная великорусская сфера, которая остается перед нами. Лишь с ней можно роднить охинéю литературной речи.

§ 9. Словопроизводство охинéи от охинить должно быть оправдано фонетически, морфологически и семантически.

1) Фонетический образ слова прозрачен. Никаких звуковых превращений предполагать не приходится. „Правописание" лишь исказило ясность этимологического лика этой лексемы: ахинéя вместо охинéя [1]).

2) Морфологических комментариев потребуется больше. И особенное внимание надо сосредоточить на суффиксе—éя. У него есть фонетический вариант—ея́.

Присмотревшись к их употреблению в современном литературном языке, приходится признать, что их функции смешиваются.

éя—преимущественно распространен в словах заимствованных, в которых отсутствует ясное сознание форм словообразования: галерéя, галантерéя (ср. у Гоголя: „галантерная половина человеческого рода"—в речи Чичикова с извинениями от автора за „словцо" с улицы), аллéя, батарéя, бумазéя, рацéя, ливрéя, портупéя и т. д.

Ср. Пелагéя, Секлетéя; ср. также фузéя, тавлéя.

Суффикс ея́ в существительных отглагольного происхождения для обозначения действующих лиц женского пола и также самого действия, его места или продукта действия (в соответствии с функциями всех вообще суффиксов действия—в категории предметных имен):

швея́, жнея́, толчея́.

Однако надо отметить параллелизм форм ворожея́ и ворожéя.

Все это говорит за то, что суффикс ея́, как мертвый, исчезает в литературном языке. Объясняется это, повидимому, тем, что категории действующего лица и опредмеченного действия

нуть"—поступать несправедливо: „что кривнешь, то и пожнешь". Мосальск. Может быть, сюда же надо относить и област. (Холмогорск.)—кривить—огорчать, доводить до слез. Ср. в сербо-хорватском значения hiniti—обманывать, лгать, поступать несправедливо и т. п. Но этот путь мне представляется скользким, пока не раскрыты некоторые общие семантические нормы эволюции значений.

[1]) Необходимо отметить, что еще в 30 годах XIX в. некоторые писатели, как напр., А. А. Павлов, пользовались такой транскрипцией этого слова. Касимовские повести и предания. Москва. 1836, ч. II, 28 стр.

стали определяться морфемами с более резким ощущением глагольности (ср. плакальщица рядом с диал. плачея). Суффикс жея в литературном языке не имеет в настоящее время связи с системой отглагольных образований.

Однако все эти факты не дают никакого материала для суждения об ахинее.

Они свидетельствуют лишь, что для современного языкового сознания это слово—не отглагольное имя. Но это и без того ясно, раз в литературном языке нет глагола о х и н и т ь.

Одно лишь следствие все же из этого морфологического анализа вытекает, в ходе моих рассуждений не новое: ахинея—слово в литературном языке заимствованное. И о суффиксе его надо вопрос ставить не в плоскости морфологии литературной речи, а в более широкой области истории форм словообразования в великорусских говорах.

Необходимо и здесь допустить два варианта суффикса е я:—и я и ѣ я (ср. в млр., и я, как суффикс имен действия по глаголу: хвалия, †здija, течия (Вольтер. Разыскания, стр. 92—93; Miklosich. Vergl. Wortbildungslehre, s. 71). Фонетическую историю формы—и я, по Шахматову, приходится рисовать так: и я сохраняло *и* перед j в общерусском праязыке, а затем в великорусских говорах такое *и* „правильно и последовательно перешло в *е*“ (ср. Очерк. 37,405) около XIV—XV в. [1]). Так получились имена действующих лиц ж. р. (или общего рода) и имена действий:

1. печея́, прядея́, тчея́, ткея́ Волог. (Бажен.) [2]); мелея́—пустомеля (пск, тверск. Доп.) [3]); ползея́,—толчея́,—баба пустомеля (пск. тверск. Доп.). Ср. грабея́ (пск.)—ручная кисть с пальцами и др. под.

2. мелея́: чушь, глупость Лужск. (З. Г. О. IV), толчея́ и т. п.

Но рядом была другая форма—ѣя. Очевидно, суффикс этот был параллелен суффиксу и я. Если тот возник, как следствие образования предметных имен от класса глаголов на -ити: колотить—колотея́ (Ржевск.) и затем распространился на другие типы, то суффикс ѣя мог исходить из отглагольных форм класса -ѣти [4]). Ср. охинѣти—охинѣя в Лужск. гов. (Ср. Шахматов. Очерк, 263).

Известно, что в великорусском наречии, особенно в северновеликорусских говорах, наблюдается тенденция к смешению классов глаголов на -ити и -ѣти: зрити—зрѣти, смотрити—смотрѣти. (см. об этом в моей книге „Исследования в области фонетики северно-русского наречия. Вып. I. СПБ. 1922). Эта тенденция не могла не отразиться и в смешении суффиксов ея (ия) и ѣя, тем

---

[1]) Ср. также рассуждения Л. Л. Васильева в Изв. ОРЯС, X, 2, стр. 224.

[2]) У Шахматова. Очерк, 261.

[3]) У Вольтера. Разыскания, 91.

[4]) A. Meillet. Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. Paris. 1902, p. 393: Leskien. Bild., 333 rapproche les formations lituaniennes en ėjas de nom d'agent et diverses formations slaves, notamment lęžaja et verěja. Ср. 399 стр.

более что для этого процесса ассимиляции могли быть и другие, фонетические импульсы.

В современных великорусских говорах смешиваются два суффикса—е́я и е́я, как потомки форм и я—ѣ я.

Акцентологические отношения здесь перепутаны (ср. ше́я). В целом ряде говоров наблюдается борьба двух типов ударения, ведущая к вытеснению или ограничению одного из них. Во всяком случае, в народных говорах суффикс е́я не связан по преимуществу с заимствованными словами, как это наблюдается в литературном языке.

Обратившись к словарю хотя бы областного архангельского наречия Александра Подвысоцкого, можно выписать из него две вереницы слов.

Одна—с суффиксом е́я—короткая: качея́ — морская болезнь. Пом. (64); плачея́.

Другая—длинная: веретея́, верея́, гладея́, гнетлея́, давлея́, желтея́, злобея́ [1]), знобея́, лашея́, леденея́, невея́, неядея́, плясея́, огнея́ [2]), резея́, тресея́ (трясея́), ломея́, томея́, корчея́ (даже хрипуще́я, пухлея́, сухея́), также: вицея́ (дыра в середине жернова), галлея́ (сельдь у Кольского полуострова; ср. га́лья—соленая сельдь), заурея́ (лучшая крупной породы сельдь), конжея́ (тюлений теленок, отставший уже от матки), рацея́ (песни божественного содержания).

Ослаблять убедительность показаний этой цепи не должно то обстоятельство, что большая часть форм с суффиксом е́я—имена лихорадок, имена, которые, как утверждали еще Миклошич и за ним Вольтер, пришли книжным путем. Наличие новообразований с морфемой е́я (ср. хрипуще́я, сухе́я и т. п.), оформление заимствованных слов при ее посредстве (галле́я и др.), сохранение ее в старых словах (вере́я, веретея́)—все это говорит, что суффикс е́я является в данной группе говоров живым и даже более продуктивным вариантом, чем суффикс е я́.

Наблюдения над морфологическими типами параллельных образований в других великоруссих говорах лишь подтверждают заключение о параллелизме суффиксов е я́ и е́я.

Отсюда—вывод, что морфологически безупречной будет композиция а х и н е и, как образования от глагола о х и н и́ т ь с помощью суффикса е́я в функции показателя действия или продукта действия—охине́я. Ср. мелея́—чушь, глупость. Лужск. Ср. белорусск. указэя—приказ, распоряжение (Вольтер).

Любопытно одно свидетельство (Гладких), что в Красноуфимском у. употребляется—о х и н и я и в качестве имени действующего лица. „Писарь кричит на кошкодера: в каталажку ево, охинию, живодера“ (Труды Пермск. Арх. Ком. X, 14) [3]).

---

[1]) В Акад. Слов. почему то ударение переставлено (при ссылке на Подвысоцкого).

[2]) Любопытна рядом форма о г н и я, ср. стр. 175.

[3]) Мною взято из Материалов Постоянной Словарной Комиссии.

Таким образом, с фонетической и морфологической точек зрения этимология о х и н е и из о х и н и т ь (хинь, хи́нить, охини́ть) является прозрачной.

Семантический путь к ней привел. Замыкая кольцо построения, можно лишь повторить, что значения слова—„хинь", которое для современного диалектического сознания связывается с глаголом хинить, как для нас играть — игра, т. е. не как генетически-первичное, а как отглагольное, целиком соответствуют с м ы с л о в о й х а р а к т е р и с т и к е—о х и н е и (от о х и н и́ т ь).

Семантический путь: о х и н е я—предмет хулы, брани, то, что достойно порицания, вздорные слова (ср. значения в сербо-хорватском — fallere, fingere [1]), пустяки, чушь, дичь и т. д., — не является странным и темным (ср. хотя бы лексемы: в з д о р и вздорить, п о в з д о р и т ь в лит. яз.). Но во всяком случае лексема—„охинея" в своем основном семантическом ядре установилась еще до проникновения в систему литературной речи, где она зажила особой жизнью [2]).

Однако, можно и в литературном употреблении указать отголоски более тесной связи значений слова—о х и н е я с семантикой глагола—хинить, охинить (бранить, порицать, хаять).

В ряде случаев слово „а х и н е я" приобретает значение не просто нелепости, но нелепости „бранной", бессмысленного порицания или бессмыслицы, достойной порицания (в активном и пассивном смысле).

У Салтыкова-Щедрина в „Запутаном Деле" (Собр. соч., т. I 648 стр.): „Я вам говорю: по мечтанию пошел! Уж какую он в последнее время ахинею г о р о д и л, так хоть святых вон понеси: и то нехорошо, и то дурно"...

Ср. у Державина в „Переписке": „не слышится никаких других ответов, кроме той со всех сторон предосудительной а х и н е и".

§ 10. В заключение мне хочется сказать несколько слов о диалектизмах в русском литературном языке, не выходя из границ тех выводов, которые можно иллюстрировать примером—ахинеи.

1. Мне кажется, что вторая половина XVIII века в истории русской лит. речи проходит под знаком борьбы с диалектическими, вульгарными элементами. В эту эпоху происходит в разных направлениях и у разных поколений, у разных типов речи

---

[1]) Ср. значение у Budmani: lažno kazati da šlo nije onako, kako jest. III Д., 604. Ср. старое выражение: врать ахинею. Любопытны также семантические переходы: брехать—лаять, брехня—ложь, чушь, пустяки.

[2]) Ср. приведенные выше данные об употреблении слова—о х и н е я—в народных говорах.

Если бы было оправдано сопоставление лексемы—г и л ь („лишь водевиль есть вещь, а прочее все гиль") с диалектическим, напр., архангельск. изгиляться—н а с м е х а т ь с я, и з д е в а т ь с я (однако есть глагол изгалиться в том же значении; ср. галить, галь—насмешка), то это была бы хорошая семантическая параллель. Во всяком случае французск. l a g u i l e (из Словаря Littré) не объясняет значения русск. г и л ь.

по разным принципам процесс чистки разговорного языка образованных классов общества. Разговорный язык приспособляется к светскому обиходу столицы. Между его „домашней", фамильярной функцией и общественно-светской — устанавливаются резкие грани. Процесс „олитературивания" разговорной речи высших слоев, которая принимает своеобразный отпечаток манерного витийства на салонный, французский лад, осуществляется за счет ограничений, переосмыслений церковно-славянского и приказно-канцелярского ее состава. Вместе с тем и диалектическая струя, игравшая столь значительную роль в языковой практике высших классов, особенно провинциальных, в первой половине XVIII в., теперь сужается до последних пределов.

Даже сторонники славенщизны и народности, охранявшие литературную речь от галлицизмов и морфологических „снимков" с француск. яз., допускали возможность широкого употребления лишь тех „диалектизмов" простонародных слов, которые в свете этимологических теорий того времени могли обнаружить свое „корневое" (и, „следовательно", коренное) родство с церковно-славянизмами [1]).

Конечно, этот процесс „чистки" литературного языка от вульгарно-диалектической струи не мог захватить всех „простонародных" лексем, в особенности тех, которые утратили непосредственно ощущаемую „жаргонную" или „вне-литературную" социально-экспрессивную окраску. Такие слова оставались в „низших" уровнях литературной речи.

Среди них была и лексема—„о х и н е я" (ср. „чепуха" в Словаре 1789 г.). Глагол—„о х и н е т ь" (в значении—разбогатеть)—пародически (быть может, не без оттенка каламбурности) ходил в индивидуальном употреблении у образованных людей, знакомых с северно-великорусским наречием (таков Г. Р. Державин) [2]). Он не внесен ни в один словарь литературного языка. Он „внелитературен". „Охинея" же поднималась постепенно в нормы не только литературно-разговорного, но и книжного языка. 20—40-е годы должны были окончательно канонизировать это слово.

Это была эпоха нового натиска на литературно-книжную речь диалектической стихии. Первая четверть XIX в. в истории русской литературной речи прошла под знаменем перемещения

---

[1]) Очень прямолинейной представляется мне схема эволюции русской литературной речи, предложенная Н. С. Трубецким в его интересной статье: „Общеславянский элемент в русской культуре" (из книги: „К проблеме русского самопознания". 1927).

[2]) Необходимо помнить контекст, в котором употреблено это слово Державиным. Это—шуточное письмо к „неизвестному лицу" в форме апостольского послания. Вот цитата: „Здесь тя причислят в моршанское купечество с удовольствием. Снабдят тебя, для обзаведения твоего на новом месте, всем нужным, и ты ни в мале никогда не расскаешися, покинув север и места каменисты, охинееши бо скоро богатством, яко Мартьянов, под покровительством властителя, за доброе поведение твое". 667 стр., т. V.

„уровней“ в пределах разных пластов уже определившихся в составе литературного языка в концу XVIII в. Кое что из архаической лексики, фразеологии и синтаксических форм выходило из употребления—в связи с падением или инактуальностью тех литературных жанров, где все это раньше имело широкое применение. 30-е годы—полоса перелома, когда сдерживаемая диалектическая струя прорывает шлюзы пуристов. Впрочем, необходимо оговориться, что процесс „вульгаризации“ литературно-разговорного и книжного языка в 30—40 годах сочетается с процессом их наводнения „философской“, журнально-публицистической и газетно-политической фразеологией. Таким образом, тут „диалектизация“ и „вульгаризация“ идут рядом с „олитературиванием“ разговорного языка, с перелицовкой его на жаргонно-книжный лад [1]). Именно в эту эпоху лексема „хинью“ через вульгарные диалоги художественной литературы, прикрепленные к персонажам из вне-интеллигентского круга, просачивается в литературный язык, но им не усваивается.

С 60-х годов начинается реакция против „вульгаризации“ литературной речи. Но эта реакция выражается в своеобразных формах расслоения, в нормировании жанровых группировок лексических составов, а не в искоренении „вульгаризмов“ и „диалектизмов“ [2]).

Эпоха революции знаменует новый этап „вульгаризации“, с одной стороны, и „профессионализации“, с другой, литературного языка.

2. При изучении истории „вульгаризмов и диалектизмов“ в литературном языке существенным моментом является исследование изменений в „социально-экспрессивной“ окраске лексем. Слово—а х и н е я—на всем протяжении своего бытованья в литературной речи—до включения в норму книжного языка—понималось и определялось, как „простонародное“. И это является сильным доводом в пользу предложенного мною объяснения. Вообще более внимательное отношение к этой „социально-экспрессивной“ стороне в семантике слов избавило бы русских лексикологов от поспешного приурочения лексем к тому или иному жаргону, как это случилось с а х и н е е й. Вот еще иллюстрация к этой мысли из истории слова: „ерунда“, которое иногда считается „бурсацким“ (из латинск. gerundium или gerundivum) [3]). Мне кажется, что и тут не все благополучно (особенно—ударение).

---

[1]) Не могу согласиться ни с методом, ни с основными положениями статьи А. С. Орлова: „Социология языка литературных произведений“ в сб. Родной язык в школе“, 1927 г., № 2, хотя по ряду отдельных вопросов истории литерат. языка XVIII—XIX в. я пришел к близким выводам. Ср. мою статью: „Язык Зощенки“ в сб. „Мастера современной прозы“, вып. I.

[2]) Эволюцию лексики в XVIII в. я пытаюсь наметить в приготовляемой к печати книге: „Русский литературный язык в XVIII в.“

[3]) Ср. хотя бы у Зеленина. Русск. Фил. Вестник, 1905, № 3,

Любопытен разговор в „Петербургских углах“ у Некрасова: „Ерунда́“, сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался.— „Охота вам руки марать“. „Ерунда́!“—повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей заглянуть ему в лицо. „Глуп ты, так и ерунда́“.

К слову—„ерунда“ сделано авторское примечание: „Лакейское слово, равнозначительное слову—д р я н ь“ (23 стр. II. 1921) [1]).

Изучение „социально-экспрессивных“ форм слов в их эволюции необходимо признать одной из основных задач истории русского литературного языка.

---

[1]) См. отсутствие этого примера, столь важного, в Академ. Словаре, II, 136—137 стр., под словом: „ерунда“.

ИЗ ЖИЗНИ ОМОНИМОВ

Раскрыв старую, ровно сто лет назад выпущенную, грамматику Греча [1]), мы видим, что омонимы в эту эпоху представляют серьезный предмет внимания: в них, повидимому, усматривают нечто такое, что следует учесть, продумать, без уразумения чего овладение языком не будет достаточным. Греч на протяжении десяти страниц убористой печати (§ 535, стр. 494—504) „исчисляет" слова, которым только различие в месте ударения дает различные оттенки смысла и проделывает это „с показанием различия оных в смысле и в грамматическом свойстве". Сопоставляются „а́лое, имя прилагательное среднего рода (алый)" и „ало́е (растение), имя существительное..., бе́здна, имя существительное женского рода" и „без дна́" предлог, имя сущ. средн. рода (дно) в родительном падеже", „бе́регу, дат. падеж имени существ.: бе́рег" и „берегу́, первое лицо наст. времени глагола: бере́чь" и т. д.

Подобным же образом А. Востоков предостерегает против омонимов морфологических (точнее, омоморфем): „Сокращение *ой, ей,* вместо *ою, ею,* принадлежит просторечию, и допускается также в стихах для меры; но должно быть избегаемо в тех существительных, которые имеют уже родительный множ. числа на *ей,* дабы от одинакового окончания *ей,* творит. и родит. множ. не вышло недоразумения; напр., с юношей, вместо с юношею твор. ед. числа, и с юношей, род. множ." [2]).

В настоящее время большинство подобных примеров для нас только омограммы, которые мы не находим нужным как либо различать. В речевой же стороне место ударения признается таким же четким звуковым отличием, как и качественные изменения гласных, да фактически оно ими, кроме того, и сопровождается. Следовательно, в вопросы омонимики матерьял вроде привлеченного Гречем для нас никак входить не может.

---

[1]) Практическая русская грамматика, изданная Николаем Гречем, Санктпетербург, 1827 г.

[2]) Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная. Изд. 12-ое, С.-Петербург, 1874.

Но в других отношениях мы имеем право настаивать на некотором возвращении к старине. Уже с конца третьей четверти девятнадцатого века омонимам перестают придавать серьезное значение. Вот, напр., выдержка из „Начертания славянской акцентологии“ Р. Брандта (1880 г.): „Не следует, разумеется, думать, чтобы язык сознательно и намеренно устранял совпадение двух слов или двух падежей в одном звуковом облике: языки не особенно боятся ни численного сокращения падежей, ни омонимов. Сербы без всякой необходимости заменили четыре формы женам, женами, женах и женама одною—женама; французы в созвучии *sę* дали совпасть шести латинским словам: sinus, sanus, sanctus, cinctus, signum, quinque (sein, sain, saint, ceint, seing, cinq), не говоря уже о многочисленных случаях совпадения двух или трех слов, как šèr = carus, caro, cathedra (cher, chair, chaire), pę = panis, pinus (pain, pin) и т. п.“ Иначе говоря, это означает: тем или другим образом в языке омонимы скопляются, и это делу не вредит; омонимы—такие же законные дети языкового творчества, как и все остальные. Что на подобной позиции безоговорочно стоять нельзя, отмечалось, однако, в лингвистической литературе не раз: принципиально правильной являлась уже позиция Бреаля в его в свое время недооцененном „Essai de sémantique“, где различным тенденциям языка отводится достаточно большое место; чуть ли не важнейший фактор, определяющий вымирание слов и замену их синонимичными, видит в омонимии знаменитый основатель лингвистической географии Жильерон, выступающий в защиту этой теории с несколько, может быть, крикливыми заглавиями в роде „La faillite de l'étymologie phonétique“ (Neuveville, 1919), „Pathologie et thérapeutique verbales“ (1921) и под. [1]); принципиально роль омонимии при устранении слов утверждают на хорошо проработаном матерьяле Мейе („Sur les effets de l'homonymie dans les anciennes langues“, Cinquantenaire de l'école des hautes études“. 1921, стр. 169—180), Есперсен („Language, its nature, development and origin“. 192 —1923, стр. 285—286) и др. (см. литературу, цитируемую у последнего); серьезно готов считаться с нею Гирт („Indogermanische Grammatik“, I, 1927, стр. 185). Но вместе с тем несомненность существования омонимов упорно заставляет думать, что вопрос о них нельзя сводить к какой либо слишком элементарной и жесткой формуле, что дело тоньше, чем иногда кажется, и необходимо его внимательно рассмотреть по частям на фактическом матерьяле различных языков, не давая большой свободы одним априорным соображениям.

Условимся различать среди омонимов несколько категорий. При этом прежде всего намечается одно деление, которое вряд ли

---

[1]) О его работах см. в русской литературе М. Я. Немировский „Лингвистическая география и ее значение“. Известия Горского Педаг. Института, III (Владикавказ, 1926), стр. 235—248.

вызовет какие либо возражения: ясно, что омонимы морфологические (омоморфемы) могли иметь судьбу, значительно отличающуюся от омонимов, которые за отсутствием более подходящего или вообще узаконенного термина назовем лексическими. Собственно, ведя разговор об омонимах, имеют в виду именно эти последние. Пример морфологического омонима приведен выше в цитате из Востокова; сравн. еще живой (им. п. ед. ч. муж. р. и род., дат., твор. ед. женского), пути (родит., дат. и пред. ед. ч. и имен.-вин. мн.) и под.

Затем, другое, тоже вряд ли спорное различие заключается в разделении омонимов на относящиеся к одной и той же морфологической категории и к разным. Примеры чрезвычайно просты: ключ (от замка) и ключ (речной), жать (злаки) и жать (сжимать) относятся к первой группе; стекло (предмет) и стекло (прош. вр. ср. рода от „стекать"), три (число) и три (повел. накл. к „тереть")—ко второй.

Далее, следует различать омонимы натуральные, целостные слова, не допускающие при морфологическом анализе выделения продуктивных словопроизводственных элементов, и омонимы производные, получающиеся в процессе образования новых слов или форм путем использования как однозначных, так и многозначных словопроизводственных средств: сравн. приведенные выше три, ключ, с одной стороны, и такие, как засаливать: 1. длительный вид от засáлить и 2.—от засолúть; засыпáть: 1. несовершенный вид от засы́пать и 2.—от заснуть,—с другой.

Учету подлежит также, относятся ли омонимы к близкой или удаленным сферам понятий и эмоций. Наконец, значительную влиятельность мы должны признать за сопровождающим омоним словесным окружением.

Пользуясь намеченными различениями, мы можем посвятить наше коротенькое исследование основному вопросу омонимии: в какой мере выживают омонимы каждой из намеченных категорий?

Обращаясь прежде всего к лексическим омонимам, мы можем уверенно утверждать, что омонимы, относящиеся к разным частям речи, как языковые знаки осуществляются и воспринимаются без всякого сопротивления со стороны говорящих и слушающих. Стекло (имя сущ.) и стекло (глагол прош. вр.), пять (название числа) и пять (повел. накл. от—„пятить"), коса (имя сущ.) и коса (сказуемая форма прилагательного ж. р.) и т. п., вообще говоря, не ассоциируются в нашем сознании, и мне не известны данные, которые говорили бы о том, что язык с течением времени „убирает" один из членов подобной пары. Можно, конечно, представить себе теоретический случай, когда, скажем, от малоупотребительной глагольной формы „пятить" образуется приведенное выше повелительное наклонение пять; если при этом ситуация не помогает пониманию, а это случай крайне ред-

кий, то „пять лошадей", конечно, будет понятно в смысле более употребительного названия числа. Но и в противоположном случае, т. е. когда „пять лошадей" благодаря ситуации будет понято правильно, в сознании, мне кажется, обязательно ярче или слабее всплывет и „пять", как название числа, с тем, чтобы моментально же оказаться отброшенным. Возможно, что его мгновенное появление повлечет за собою некоторое изменение в выборе формы—сказанным окажется „попять-ка лошадей" или что либо подобное. Если этот факт следует оценить, как отражение тенденции избегать и подобных омонимических пар, то ясно, что главное условие, когда это имеет место, редкая употребительность одного из омонимов, граничащая почти с одною возможностью образования соответственной формы. Чрезвычайно редки случаи, наталкивающие на мысль, что иногда язык стремится разграничить и такие с нашей точки зрения вовсе безвредные омонимы: могу указать лишь на фонетически темное белорусское ёсьць „есть, имеется" при есьць (есьци) „есть, кушать".

Признавая общую терпимость языка к омонимам разноформным, приходится констатировать прямо противоположное, когда дело идет о принадлежности их к той же самой грамматической категории. Я изучил, напр., судьбу омонимов-инфинитивов в славянских языках и должен был констатировать в большей мере, чем это мог предполагать, исходя из чисто-теоретических оснований, постоянное вытеснение или гибель одного из членов омонимической группы [1]). В значительном числе случаев мы имеем полное исчезновение омонима раньше существовавшего; примеры такого рода относятся главным образом к языкам, в которых фонетические изменения вызвали особенно много омонимов, напр., к чешскому. Оставаясь в пределах русского матерьяла, можно было бы указать на не дошедшее до нас ни в одном славянском языке инфинитивное образование от еду (*есть), замененное синонимичным ехать: ср. есть (от *ем*).

Другой путь, более частый,—когда освобождение от омонимности совершается при помощи какой либо из ассоциирующихся форм. Психологические влияния, среди которых живет слово, не так часто сказываются в замене внешей оболочки новой, к ней близкой; так называемые „аналогические образования" (термин в значительной мере неточный) среди массы фонетических форм, отражающих действие закономерных тенденций к изменению фонем, обычно не занимают большого места. Иначе обстоит дело, когда языковое сознание стоит перед задачей освободиться от тяготящего омонима: психологические влияния в последней тенденции находят себе сильного союзника, и в результате—один

[1]) Подробно в статье „Sur les effets de l'homonymie dans les langues slaves", сданной в „Revue des études slaves".

из омонимов вытесняется формою, близкой к нему, но уже не тождественной той, которая создавала омонимность. Если инфинитив стлать (к наст. вр. изъяв. накл. стелю) в силу того, что группа стл произносится как *сл*, образует омоним к слать (шлю), то тем самым открывается дорога влиянию форм настоящего времени стелю, стелешь и т. д. на инфинитив, и свои права начинаеть упорно предъявлять новообразование стелить.

Если в известную эпоху в жизни украинского языка проявилось действие фонетического закона, по которому каждое *и* перешло в *ы*, то инфинитивы, соответствующие русским бить и быть, должны были с этого времени звучать одинаково. Из них, однако, вполне выжил лишь один бити (читается „быты") = русск. „бить", а другой подвергся влиянию форм буду, будешь и т. д. и звучит теперь только бути. Известная омонимная пара жать (1. сжимать, 2. срезáть) в белорусском устранена путем новообразования жмаць (от жму); от жну остается жаць.

Любопытно при этом, что омонимность одних инфинитивов (остальное в системе глагольных форм может расходиться, не образовывать омонимов) в истории славянских языков оказывается часто достаточной для гибели соответственного звукового знака, т. е. гибнут не только омонимы, как напр., *лягати „ложиться", вытесненное омонимом лягати „лягать" (лягаю, лягаешь и т. д.), но и такие как с(т)лать—стелю, слать—шлю, белор. жаць (жму) и жаць (жну).

Языковое сознание в этом отношении оказывается больше на страже интересов понятности, чем это следует признать нужным по существу дела.

Нужно, однако, заметить, что между языками существует различная степень чуткости по отношению к омонимам этого рода в зависимости от общего характера их исторической фонетики. Вообще говоря, наблюдается, что в языке вроде русского, в котором фонетические законы не вызвали значительного совпадения былых фонем [1]), омонимов очень немного и существующие обнаруживают заметную тенденцию к исчезновению. Язык же вроде чешского, с фонетическими изменениями, приведшими к тому, что одинаковые рефлексы являются при известных условиях, напр., на месте праславянских—носового *ę*, ятя (*ě*), *e*, *i* и *y* (ы), не может противостоять громадному скоплению омонимов и, уни-

---

[1]) Переход праславянского носового *o* в русское *y* вызвал несколько омонимов: лук (оружие) и лук (растение); может быть, тухнуть (погасать) и тухнуть (протухать), хотя праформы последних двух слов несовсем безупречны со стороны этимологической (ср. Miklosich, Etymol. Wörterbuch der slav. Sprachen, 1886, стр. 358),—о них ниже; третья группа оказалась совсем безвредной,—это редкий случай „свернувшегося" омонима (ср. немецкие примеры у Пауля, Prinzipien der Sprachgeschichte[4], 1909, § 149)—dǫti и duti, уже в праславянском, вероятно, бывшие очень близкими синонимами (Ср. Berneker, Slaw. etym. Wörterbuch, стр. 236 и 244).

чтожая часть их, известное количесто сохраняет, а это обстоятельство вообще способствует большей к ним терпимости языкового сознания. В таком именно языке может иметь место факт, вряд ли возможный в иных,—неразличение в парадигме единственного и множественного числа; напр., lví srce одинаково может значить „львиное сердце“ и „львиные сердца“ [1]).

Имея дело с фактами русского литературного языка, установившегося со строгой нормой, оберегаемой школою, не так легко подметить все значение психологических предпосылок отмирания омонимов. Гораздо заметнее оно в языке с большей свободой, где литературная форма находится еще в процессе выработки, где факты диалектов еще очень влиятельны, и отбор между ними—дело текущего дня. Таков, напр., ближайший родич русского—украинский язык: слова жати „жать“ (рожь и под.) с наст. вр. из. накл. жну и жати (жму) „жать, сжимать“ еще существуют как омонимы (приводят их и украинско-русские словари); но уже в прекрасном и очень полном Академическом словаре [2]) русск. „жать—жму“ переводится только „тиснути, тискати, стискати, душити, давити“ и под., а жати соответствует только русскому „жать—жну“. Приводимый внешний факт—свидетельство живого: слово жати (жму) выходит из употребления и является в настоящее время в ряду синонимичных ему слов наиболее редким.—Лічити „лечить“ и лічити „пересчитывать“ еще недавно существовали рядом; в словарях их отмечают и до сих пор, но фактически лічити „лечить“ избегается („лічити зубы“ понимается, как „пересчитывать зубы = бить по зубам“ и предпочитают вместо него употреблять неомонимичное „лікувати“.

Другой путь освобождения от омонимности: коштувáти имеет в диалектах и литературном языке значения: 1) стоить, 2) пробовать. В последнее время можно заметить нередко выразительную тенденцию, отнюдь не подсказанную теорией или теоретиками, в первом значении употреблять коштувати с ударением на *о* (ср. кóштувати „Практичний російсько-украінський словник“ Йогансена, Наконечного, Немчинова и Ткаченка, стр. 214). Наоборот, те, кто в значении „стоить“ употребляют коштувáти, обнаруживают склонность в значении „пробовать“ употреблять диалектический вариант куштувáти“.

Замечания об устранении омонимов не касаются одной чрезвычайно значительной и влиятельной их группы. Я имею в виду омонимы, явившиеся и постоянно являющиеся в результате разветвления значений.

---

[1]) Есперсен, Op. cit., стр. 284—285, склонен думать, что тенденция к различению значений иногда задерживает самый процесс фонетических изменений. На славянской почве подтверждений этого мнения я не находил.

[2]) Російсько-український словник І. Редактори: В. М. Ганцов, Г. К. Голоскевич, М. М. Грінченкова. Головний редактор: акад. А. Е. Кримський. 1924.

Говоря, мы не можем не изменять слов: чуть ли не всякое употребление слова на основании ассоциации сходства заключает в себе момент известной неточности, поскольку предметы, качества, действия и проч. уже названные и называемые не бывают тождественными, а только более или менее сходными. Накапливающиеся с течением времени отклонения от первоначальных значений могут потом производить уже впечатление значений новых, но родственных; и вот, пока эта родственность жива и сознается как родственность, пока одно значение относительно другого воспринимается как известный пошиб мысли, как „образность", как „метафора", как троп вообще и под., никакой тенденции к уничтожению такого рода омонимов языковое сознание говорящих не обнаруживает: сравн. худой = 1. худощавый, сухощавый; 2. изношенный, ветхий, дырявый; 3. дурной, плохой; рукав = 1. пришивная часть одежды, покрывающая всю руку от плеча до кисти; 2. проток речной, отделившееся русло; 3. труба, кишка для проводки жидкостей; свет = 1. „состоянье противное тьме"; 2. „освещенье, что дает свет или светит"; 3. „просвет, простор для света"; 4. „вселенная, мир"; 5. „род людской, община.... люди вообще", 6. „отборное, высшее общество, суетное в обычаях или условиях жизни" (Даль) и т. п. Наоборот, рост и распространение таких омонимов лежит глубоко в природе языка и отвечает его задаче экономно использовать ограниченное число знаков для всей суммы психологических и логических возможностей.

Через значительный промежуток времени возможно, однако, такое положение, когда ветви старого значения перестают восприниматься, как связанные друг с другом, и только остроумие этимолога помогает еще перебрасывать между ними необходимые психологические мосты: былая, всякому говорившему понятная связь уже должна „открываться", „разъясняться". Так, группы значений, связанных с точить: 1. „источать, давать течь"; 2. „истачивать, исподволь переедать, просверливать, грызть, продырять"; 3. „точить что на токарном станке, выделывать вещь долотом, приводя ее подножкой в коловратное движение, так что она ровно подставляет под резец все стороны или бока свои"; 4. „натачивать, вытачивать, острить" (Даль)—не ощущается теперь как разветвление одного основного; по крайней мере, точить воду и точить нож выступают в сознании вполне обособленно Это же относится к еще более многочисленным значениям укр. точити: „1. точить (на токарном станке); 2. острить, точить; 3. цедить, лить; 4. (зерно)—очищать зерновой хлеб (на грохоте); 5. рыть, взрывать; 6. грызть; 7. катить; 8. (війну) вести войну; 9. (брехню) врать; с—*ся* еще характерно точитися (о времени, действии)—длиться, тянуться, продолжаться".—Ключ ко всем этим значениям, как развившимся из одного основного, дает старо-слав. тещи (корень—тек) с его значениями „бежать, течь". Точити, таким образом первоначально значило „заставить бежать, заста-

вить течь". Сейчас, сопоставляя отдельные значения, мы можем говорить уже о группе омонимов. Гибнут ли такие омонимы? Надо сказать, что подобных случаев немного и определенный ответ на этот вопрос сталкивается с известными затруднениями.

Часть членов приведенной группы следует отнести к выживающим омонимам благодаря одному характерному признаку, а именно: омонимы употребительных слов сохраняются, если их значение оказывается очень узким, закрепленным в определенном словесном сочетании; я имею в виду такие случаи, как прясть ушами, кот прядет (=мурлычет), укр. прясти очима „играть глазами, строить глазки", кінь стриже вухами „конь прядет ушами". Сравн. с этим: точить воду или вино (и только!), укр. точити зерно, точити війну, точити брехню,—сплошь значения узкие. Все же остальные значения „точить", „точити" более или менее ассоциируются. Если, однако, меня не обманывает мое личное чутье языка, даже и относительно благоприятствующее сохранению точить „лить" обстоятельство не спасает его целиком: „налить вина, воды" или „нацедить, кажется, начинают употребляться все чаще, вытесняя в этой функции форму точить.

Что, повидимому, разветвлениям основных значений, далеко отошедшим друг от друга, угрожает участь омонимов, заключать об этом дает некоторое право судьба праславянского слова, сохранившегося в русском в виде тухнуть [1]). Русский по отношению к нему оказался консервативнее нескольких других славянских языков. Мы сохраняем еще до сих пор значения „гаснуть" и „загнивать" (Даль, напр., и другие справедливо рассматривают оба „тухнуть" как отдельные слова); но другие славянские языки так или иначе от этой омонимической пары освобождаются (в чешском, напр., tuchnouti значит „протухать", и только сложная potuchnouti сохраняет оба значения „погаснуть" и „испортиться"; ср. и utuchnouti „погаснуть").

Учитывая гибель омонимов, как широко распространенный факт, не следует думать, что гибель эта обязательна. Некоторое количество омонимов мы встречаем в любом из существующих языков, и далеко не всегда можно отыскать причину, от которой зависело их сохранение.

Иногда для выживания омонима достаточно бывает даже такого обстоятельства, как неполная система форм у образующего к нему пару: таковы, напр., чара „стопка, кубок" и чары „волшебство, обаяние"; или вообще неполная омонимность в сис-

---

[1]) Этимологически слово это восходит к корню teus—tous со значениями: „дуть, испускать последний дух = утихать = умирать; тушить (мясо, рыбу); издавать (противный) запах = гнить = разлагаться, тлеть; гаснуть". Ср. Буга, Baltica, Русск. Филолог. Вестн. 1911 г., отд. отт. 59 стр.; Endzelin, Baltica, Zeitschr. für vergl. Sprachforschung. XLIV.

Праславянское *tus получило в отдельных образованиях вставное *n*, вероятно, под влиянием следовавшего *nQ*.

теме склонения: луг (произносится лук): луга: лугу, но лук: лука: луку. В других случаях можно догадываться о том, что подверженный угрозе гибели омоним поддерживается ассоциированными с ним производными, не вполне совпадающими с производными от другого члена пары: ср. такие образования, как прижать, зажать, производимые только от жать—жму и неупотребительные по отношению жать—жну.

Иногда держатся „безвредные" омонимы, относящиеся к слишком далеким сферам мысли: сравн. лук (оружие) и лук (растение). Правда, может быть, в русском один из омонимов „не успел" погибнуть, так как слово лук—оружие относительно редко употребляется. Любопытно, однако, что в украинском и белорусском соответственная омонимическая пара разрушена: лук—растение вытеснено там словом цибуля (укр.), цыбуля (белор.).

Из таких выживших омонимов назову еще, напр., коса (земледельческое орудие) и коса — „заплетенные волосы", орать 1. „пахать" и 2. „горланить", сосуществующие в некоторых диалектах [1]).

Если не всегда можно уверенно объяснить причину продолжительного существования той или другой омонимической пары, то едва ли не труднее предсказать, какой из членов пары выживет за счет другого. Относительно редко мы стоим, однако, перед фактами достаточно прозрачными: так, напр., ясно, что из пары жать больше вероятностей выжить имеет жать—жну, поддерживаемое аналогией отношений начать—начну, мять—мну и под., тогда как жать—жму слабо поддерживается аналогией одного лишь взять—возьму.

В связи со сказанным о выразительной тенденции языка так или иначе освободиться от омонимов естественно возникает вопрос, в какой мере при такой тенденции возможно пополнение языка иностранными словами, омонимичными родным. В русском языке мы имеем, напр., омонимическую пару брак „союз мужа и жены" и брак „товар, оказавшийся негодным", и это могло бы подать мысль иначе смотреть на омонимы такого рода, чем на те, которые получились в результате действия фонетических законов. Думаю, однако, что данный пример не показателен. Скорее, дело следует себе представить так, что слово „брак" во втором значении перенято было из немецкого языка теми, кто как раз не имел в своем сознании слова „брак" в значении „супружеский союз". В украинском есть интересный в этом отношении омоним пáра „пара" (из немецкого) при *пáра* „пар"; но галицийское ударение последнего слова парá делает очень сомнительным, чтобы та среда, откуда, повидимому, шло заимствованное слово, действительно стояла перед фактом омонимии. Mutatis mutandis это следует сказать и о таких случаях, как наши клуб „клубок" и заимствованное из английского клуб

[1]) Ср. Долобко, Zeitschr. f. slav. Philol. III, 142 и след.

„общество лиц, объединенных общими интересами и собирающихся обыкновенно в одном и том же месте"; укр. луг: 1. „луг" и 2. „щелок",—вероятно, там, куда вошло из польского языка луг „щелок", говорят о луге только лука́ или лу́ки, и т. п.

До сих пор мы ограничивались изучением почти исключительно простых омонимов. Переходя к производным, т. е. к таким словам, которые вошли в язык в процессе называния новых понятий или их оттенков при помощи продуктивных формальных средств, составляющих особенность данного языка, приходится констатировать, что они сравнительно с первыми обладают несколько большею способностью выживания[1]). Вряд ли стоит распространяться о том, что граница между ними и простыми омонимами не всегда может быть проведена достаточно резко и что слова, являющиеся для современного сознания „простыми" или относительно простыми [2]), в прошлом представляли образования творческие, добытые в процессе искания слова.

Как показывают наблюдения над языками вроде украинского, находящимися еще в процессе выработки своей лексики, общая охранительная тенденция по отношению к омонимам не минует омонимов словопроизводственных: если, напр., исходя от сума „сумма", „суммировать" (суффикс—„ировать" в украинском передается через—ув—ати) пришлось бы передать через сумувати или если „репетировать" звучало бы репетувать, то оба подобных образования или вообще обходятся или употребляются нерешительно: сравн. омонимы сумувати „печалиться, грустить", репетувати „кричать, вопить" [3]).

Что, однако, словопроизводственный процесс может преодолеть и преодолевает нелюбовь языка к омонимам, показывают такие, напр., случаи в том же украинском, как: боронити 1. отстаивать, защищать, охранять; запрещать и 2. бороновать. Боронити—производное от борона, и в говорах иногда суще-

---

[1]) Надо иметь в виду, что разница между словами „простыми" и „производными" в смысле истории значений громадна. Первые меняются относительно редко, вторые представляют гнезда значений, очень удаленных друг от друга, и это понятно: сумма значений производного слова только при внешнем подходе может восприниматься, как разветвления одного основного; на самом деле соответственные явления называются при помощи комбинаций корневых значений с формальными не раз и не два, а называние почти всегда характеризуется выдвижением какого либо, иногда довольно случайного признака, очень слабо и мало определенно ограничиваемого формальными значениями: сравн. заключаться, что могло бы значить, напр., „запираться", представлять—собственно „ставить перед глазами" и под., кузнечик (предметов, которые могли бы напоминать кузнеца, в природе может быть очень много).

[2]) Т. е. такими, в которых выделяются формальные элементы слабой словопроизводственной продуктивности.

[3]) Не касаюсь сейчас вопроса, близкого к проблеме омонимии,—о сходно звучащих словах; отмечу только, что даже и здесь в процессе образования новых слов проявляется „отталкивание" от слов с отрицательной эмоциональной окраской: от посол мы затруднились бы образовать послица, а постоянно купающегося с нами на пляже человека—назвать сопляжником.

ствуют оба слова вместе, хотя в других достаточно выразительна также тенденция вместо „боронити“ употреблять неомонимичные боронувати и скородити. Пропитувати „прокармливать“ и пропитувати „расспрашивать“ (простое питати значит только „спрашивать“). Возможно, что удержится укр. різни́ця— „разница“ (сравн. різний „различный“), вытеснив полонизм, правда, широко распространенный в говорах, ріжни́ця, который до сих пор предпочитался благодаря тому, что не совпадал с різни́ця (різниці) „скотобойня“. Любопытно, однако, что у некоторых проявляется тенденция в значении „разница“ употреблять ударение на *і*. Из русского приведу засыпа́ть „погружаться в сон“ и засыпа́ть „наполнять что либо сыпучим телом“ (в украинском для первого употребляется также новообразование засинати), умалять (от мал) и умолять произносится так же, как и первое, от умолить, спаивать (от споить) и спаивать (от паять), покапывать (от копать) и покапывать (от капать), просаливать (от просолить) и просаливать (от сало), подводный „находящийся под водой“ и подводная, напр., повинность (повинность по поставке подвод); заплатить (от плата) и заплатить (от заплата). Последнее, впрочем, малоупотребительно и уступает место заплатать. После сказанного выше не приходится доказывать, что в этой категории случаев особенно многочисленны примеры, которые могут казаться разветвлениями значений: ср. подбор 1. действие от глагола подбирать, 2. каблук, 3. „подводная, или точнее, суженая часть судна“ (Даль) 4. „тетива, две продольные веревки, на коих невод посажен“ (Даль) и др.; убрать 1. „прибирать, собирать и прятать“..., 2. (комнаты) „мести пол, стирать пыль, чистить, ставить все на место“, 3. „украсить, нарядить“, 4. (письмо в строку) „уместить, уписать, или убрать набором“ (Даль) и др.; заказывать 1. „запрещать, не дозволять,“ 2. „наказывать, приказывать“, 3. „подряжать сделать что либо из платы“ (Даль), и т. д.

Чтобы объяснить бо̀льшую терпимость языка к производным омонимам, приходится учесть, во-первых, многозначность самих словопроизводственных элементов, особенно префиксальных: ср. подбирать 1. „брать подымая, собирая с полу, земли“, 2. „выбирать и собирать одно к одному“... и т. д.; запить 1. начать долго пить, 2. выпить после чего либо съеденного и т. д.; разогнать 1. заставить разбежаться по сторонам, 2. сильно ускорить движение и под. Из украинского языка можно привести, напр., случаи прямо противоположных значений у одного и того же образования, вызванные совпадением (фонетическим) префиксов: ср. знимати 1. снимать, 2. поднимать, схо̀дити 1. восходить, всходить; 2. сходить, спускаться; 3. исходить, истекать; 4. подходить; 5. уходить; 6. выходить, истрачиваться.

Вторым важным обстоятельством, мне кажется, является сам уклон мысли, которая ищет своего звукового выражения прежде

всего на нормальных, образно говоря, геометрических путях ей в языке уготованных и отклоняется от них только в силу какого либо серьезного препятствия. Простые омонимы появляются в языке обыкновенно в результате фонетических, не осмысленных факторов, и, стоя перед ними, языковое сознание может стремиться от них освободиться; производные же омонимы обязаны своим появлением тенденции творческой и потому имеют за себя моменты более разумной, если не необходимости, то, по крайней мере, полезности. Они прокладывают себе путь и, преодолев сопротивление, обычно держатся довольно прочно.

Возможно, что омонимы, обязанные своим появлением фонетическим причинам, если такая омонимность образуется в морфологическом процессе, тоже более терпимы, чем те, у которых фонетические изменения ни с каким семантическим моментом не связаны: обращу внимание на такие стойко держащиеся омонимы, как вести—везти, звучащее одинаково с первым (в украинском звуковое различие сохраняется), укр. пáсти „пасть“ из *пад+ти и пáсти „пасти“ (в русском, однако, произошла дифференциация при помощи ударения, заимствованного из настоящего времени [1]). Образуя от сглазить 1. лицо будущего времени, не останавливаемся перед сглажу, хотя некоторый момент колебания все таки происходит в виду наличия омонима от сгладить. Реже случаи, когда наличие возможности образовать параллельную форму оказывается использованным и тут: сравн. напр., 1 л. ед. ч. буд. вр. от победить; предпочитаем церковно-славянское побежду, так как русск. побежу нам, повидимому, представляется омонимом к народному побежу = побегу[2]).

В морфологических элементах омонимность явление исключительно широкое. Если взять склонение русского литературного языка, то, напр., в образце мазь омонимными окажутся родительный, дат. ед. (у некоторых и предложный) и именительный-винительный множественного; в образце пена дательный и предл. ед. ч. и род. ед. и имен.-винит. множ. Язык, как видим, здесь к омонимам исключительно терпим. Есть ли это, однако, терпимость безграничная, которая может привести к состоянию языка, параллельному болгарскому, французскому или английскому, т. е. к полной утрате синтетического склонения? Имеем ли мы перед собою в последних языках конечный результат органического развития и только наличие новых этнических примесей к народу-носителю данного языка, которое могло привести к тому состоянию, какое мы наблюдаем теперь? Последний вопрос ставлю не для того, чтобы здесь осветить его в под-

---

[1]) Cp. N. van Wijk, Die baltischen und slavischen Akzent-und Intonationssysteme, 1923, стр. 75.

[2]) Думается, что объективное положение вещей состоит в том, что и та и другая форма нами избегается. *Прим. ред.*

робностях, — это вопрос слишком сложный,—хочу только указать, что, по крайней мере, не исключена возможность или, больше, есть сильные данные в пользу того, что там, где мы стоим перед фактом падения склонения, непрерывность языковой традиции была нарушена сильным притоком чужеземцев с другим языком [1]).

Когда меняется в силу действия фонетических причин звуковая оболочка в форме словоизменения, носители языка подчиняются фонетической тенденции так же пассивно и здесь, как в отношении всякого другого элемента слова. Это влиятельнейший источник омонимии. Но когда полученные результаты в тех или других случаях начинают ощущаться как неудобные, как затрудняющие понимание, говорящий легко поддается различным моментам психологического порядка, отбирая из подвертывающихся возможностей практически лучшие или кажущиеся лучшими („разум" аналогии короток—справедливо указывал Бреаль). Они не всегда могут подвергнуться, эти благоприятные возможности оберечь полезное различие значений. Но языковый инстинкт говорящего их ищет, оберегая звуковые символы флективных значений иногда гораздо ревнивее, чем это можно было бы признать нужным, исходя из общих соображений.

Если, напр., неразличение в праславянском аористе второго и третьего лица ед. числа (веде=ты повел и он повел; из более ранних *vedes—2-ое лицо и *vedet—3-ье лицо) повело к вытеснению формами перфекта в позднейшие эпохи в первую очередь этих форм [2]), то такое явление с точки зрения защиты понятности языка не возбуждает сомнений. Но, казалось бы, поскольку наши знаки падежей—носители суммы иногда очень удаленных друг от друга значений, в этой сфере различительные тенденции не должны быть заметными, и тем не менее история языка показывает, что и здесь различительные знаки иногда ревниво охраняются. Напр., как ни трудно придумать предложение, в котором бы понятности грозила одинаковость формы родительного единственного и именительного множественного, в мужском склонении типа гòрод—множ. ч. города́, формы множественного числа на *а* не образуются от слов с конечным ударением в единственном числе, т. е. там, именно, где родительный совпал бы таким образом с именительным множественного (Обнорский).

Наоборот, в падежах, постоянно сопровождающихся предлогами, т. е. имеющих четкий различительный признак, язык к омонимии падежей достаточно терпим (ср. украинское мужское скло-

---

[1]) Ср, напр., по отношению болгарского языка А. М. Селищев, Очерки по македонской диалектологии, 1918, стр. 181 и след.; западно-европейских—H. Hirt, Indogermanische Grammatik I, 1927, стр. 105.

[2]) См. St. Słoński, Tak zwane perfektum w językach słowiańskich, Prace filolog. X (1923), стр. I—33; В. Погорелов, Употребление форм прошедшего сложного в тексте Ев., Sb. filol. fak. univ. Komensk. v Bratislavě III (1925), стр. 217—224. Ср. van Wijk, Slavia V, 2 (1926), стр. 338—350.

нение, в котором именно местный (предложный) падеж допускает совпадение дательного со старым местным *-ові, -у*).

Подводя итоги сказанному о морфологических омонимах, мы можем утверждать: морфемы, как омонимы по необходимости, как омонимы уже в исходе (множественность значений), подвергаясь фонетическим изменениям, не лишены возможности выжить, увеличившись в числе (род. пад. кости, напр., и им.-вин. мн. кости для раннего периода праславянского языка еще не омонимы: первое звучало как **-ejs*, второе, вероятно, как **-i(n)s*); но их выживанию предшествует иногда довольно упорная борьба.

Другой вопрос: заметна ли после того, как они установились, тенденция к новой дифференциации? В этом смысле русский матерьял ничего характерного не дает, и я склоняюсь к выводу, что спавшиеся падежные примеры далее уже не обнаруживают признаков, которые свидетельствовали бы о такой тенденции.

В заключение два слова об использовании омонимности, как языкового факта. Все отмеченное выше, кроме частичных замечаний об омоморфемах, одинаково ведет к заключению, что омонимия ни с какой стороны не принадлежит к задачам языкового творчества и является в его процессе лишь своеобразным срывом или продуктом действия причин, близящихся к механическим. Понятно поэтому, что использование ее относится всецело к областям, где выступает задача возможного срыва с нормальной речи: организация нарочитых словесных недоразумений (изречения оракулов, шутливые задачи и под.), эффектов смешного от путаницы понятий—словесное qui pro quo (каламбуры), нарушение привычного в рифмовке („Будет вам поколачу..... А не то поколочу“, Пушкин; „Сказал раз медник, таз куя, Своей жене тоскуя: Задам-ка детям таску я, И разгоню тоску я“; „Закрыв измученные веки, Миг отошедший берегу, О если б так стоять во веки На этом тихом берегу“, Брюсов; „То, застя двор, водой с винцом Желтил песок и лужи, То с неба спрынцовал свинцом Оконниц полукружья“, Пастернак.

Харьков 7/XI—27.

Корректор. доб. Еще один интересный пример избегания омонимов в русском яз.: длит. вид от заткать—затокать (Даль) вм. ожидаемого **затыкать* и в отличие от затыкать (длит. вид от заткнуть).

Б. А. ЛАРИН

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ГОРОДА [1])

1

Мы запоздали с научной разработкой языкового быта города, да и нигде до сих пор она не производилась широко и систематически. Были только разрозненные попытки регистрации и описания отдельных жаргонов; в значительной части эти описания не подымались над уровнем любительских коллекций или справочников. Научная традиция в этой области еще не сложилась. Но и тот малый опыт, какой накопился, позволяет ожидать значительных результатов от упорядоченной и коллективной работы над этим материалом.

Известно, какое громадное действие оказало на историческое и генетическое языковедение обращение к деревенским диалектам. За последние десятилетия диалектология дала толчок к перестроению и теоретической лингвистики во многих отношениях.

Едва ли не так же плодотворно отразится в лингвистике и разработка языка города. Настоятельная необходимость этого нового расширения базы источников сравнительного языковедения теперь должна уже быть всеми осознана.

Если бы картографически представить лингвистическую разработку, например, современной Европы, то самыми поразительными пробелами на ней оказались бы не отдаленные и неприступные уголки, а именно большие города. Из всего языкового богатства этих сложных социальных конгломератов изучались только литературные языки. Но развиваясь на языковой почве города, они давно стали экстерриториальными, и в своей теперешней функции, как бы „непомнящими родства". Оттого и их изучение как то обходилось без обращения к их непосредственному лингвистическому окружению.

Но именно оттого, что изучение „языка города" не сложилось до сих пор, так шатки и неполны у нас и исторические и сти-

[1]) Статья представляет обработку моего доклада, читанного в секции общего языковедения ИЛЯЗВ'а в мае 1926 г., и с некоторыми изменениями повторенного в Гос. И-те Истории Искусств (секция изучения художественной речи) зимой 1926 г.

листические объяснения литературных языков. Городской фольклор, неканонизованные виды письменного языка, разговорная речь разных групп городского населения—оказывают непрестанное и огромное воздействие на нормализуемый литературный язык, на „высокие“ его формы.

Всюду, а не только в Союзе, отмечается в последнем полустолетии усилившееся просачивание в разговорную (и художественно-литературную) речь элементов воровского жаргона. Разве только близорукий наблюдатель может удовлетвориться объяснением этого явления, как частного, обусловленного, например, революцией. Отчего же тогда это имеет место и во Франции, и в Англии, и в Америке[1]). На самом деле в этом случае мы имеем только более яркий пример общего и постоянного языкового взаимодействия всех слоев городского коллектива; обычное использование „иной“ речи социальных соседей и антиподов; пример непрестанного искания новых экспрессивных средств в ближайших источниках (оно всегда успешно, когда обращаются к богатому „языковому дну“ города). Историческая эволюция любого литературного языка может быть представлена как ряд последовательных „снижений“, варваризаций,—но лучше сказать—как ряд концентрических развертываний.

Что же может дать для выяснения этого процесса традиционная история русского языка, ограниченная только книжным современным материалом и только верхушечной литературой прошлого?

Помощь диалектологии (крестьянской) конечно была и останется важной, но она уступит свое первенство в этом деле, когда достаточно разработан будет г о р о д с к о й языковой быт.

2

Новым оказывается сейчас задание, которое, как я пытался показать, должно бы было возникнуть еще при начале теории и истории литературного языка—и, по крайней мере, одновременно с диалектологией этнологической.

Другие обществоведческие дисциплины давно уже сделали город одним из основных своих объектов исследования. У историков, социологов, экономистов есть богатая традиция о происхождении, эволюции и значении города. В лингвистике надо еще обосновать законность этой темы, доказать необходимость и важность включения такого нового материала, а для упорных староверов, пожалуй, даже еще показать наличие нового объекта языковедения. Оставшись на пути изучения города едва не последними из обществоведов, лингвисты должны использовать их опыт в самой планировке работ по этому новому вопросу. Это ближайшая, но очень трудная и ответственная задача.

---

[1]) Внелингвистическое объяснение этого явления в том, что с ростом городов сильно возрастает группа деклассированных и происходит некоторая „легализация“ их.

Прежде чем будет составлен реальный план, должны быть произведены разведочные работы [1]) с неминуемыми ошибками и неудачами. Необходимо далее отсеять из существующих, в общем мало удовлетворительных описаний жаргонов все поучительное для техники работы (например, для составления наших лингвистических анкет).

Наконец предстоит выяснить основные понятия и установить термины для языка города и его структуры.

3

Интерес к литературным языкам, как и прежде, господствует в лингвистике (надо думать, вследствие несомненно наибольшего их культурного и социального значения).

Относительно недавнее (со второй половины прошлого века) увлечение диалектологией, когда деревенские говоры были объявлены „живым языком“ (а литературные языки „искусственными“ или „мертвыми“), мало изменило положение. До самого последнего времени диалектология строилась с ориентировкой на литературный язык и, в первую очередь, служила к освещению его прошлого,—„для построения сравнительно-исторического учения о национальном языке.“

Еще в большей мере это предпочтительное внимание к литературным языкам задержало изучение языка города [2]).

---

[1]) Они ведутся уже несколько лет и в Ленинграде и в Москве.

[2]) Не следует упускать из виду еще и другой причины того преобладающего положения, которое до сих пор занимают литературные языки в материалах современного языкознания. Не подлежит сомнению, что основным предметом изучения в науке о языке является не индивидуальное говорение, а то в нем, что отвечает норме данной социальной группировки. Нащупать эту норму, особенно если она недостаточно устойчива, чрезвычайно трудно. Дело это требует в сущности как бы временной ассимиляции с данной средой. В большинстве случаев это практически бывает невозможно. Между тем в литературных языках эту работу за лингвистов сделали писатели, которые, обращаясь к широким кругам, должны были эту норму найти во что бы то ни стало. Лингвистам остается лишь описывать и систематизировать то, что они находят у писателей. Трудность нахождения нормы там, где нет литературы и литературного языка, и имеет своим последствием то, что диалекты в громадном большинстве случаев описываются не сами по себе, а лишь соотносительно с литературным языком: отмечается обычно лишь то, что по субъективному впечатлению наблюдателя расходится с литературным языком. Этот метод исследования имеет конечно свои и исторические обоснования; но надо признать, что, действуя иначе, мы не получили бы и десятой доли того материала, которым располагаем.

Что касается специально языка города, то его, конечно, особенно трудно исследовать в виду значительной неустойчивости его населения. Тогда как в деревне все неподвижно (конечно относительно) и мы сталкиваемся здесь с вековыми традициями в области языка, в городе, особенно большом, картина все время меняется в силу постоянного притока разнообразного населения, которое ассимилируясь привносит однако кое что и свое, а главное стирает все чересчур индивидуальное. Уловить в этих условиях какую то все же существующую, хотя и довольно быстро меняющуюся, норму чрезвычайно трудно. Однако из сказанного, конечно, не следует, чтобы этого не нужно было делать.

Вовсе пройти мимо всех внелитературных и нелитературных типов речи было невозможно, и они включались спорадически в работы двух указанных основных категорий. Попадая в сферу диалектологии, этот материал был окрещен весьма расплывчатым термином „мещанские говоры".

В методической правильности такого раздела языковой сферы не сомневались, так как очевидна была тесная связь и промежуточное положение явлений городской разговорной речи между „высоким" книжным языком и „низовыми" диалектами. В меру отклонения от литературного языка городские арго принимались за разные степени „вульгаризации" его или, за известными пределами,—за разные формы „облагорожения", обогащения крестьянских говоров через скрещение их с литературным языком.

Эти патриархальные суждения надо решительно отвергнуть. Разговорные и письменные городские арго должны рассматриваться как третий основной круг языковых явлений, так как: 1) они в своей цельности не совпадают ни с литературным языком, ни с деревенскими диалектами (как в этом едва ли кто сомневался даже a priori), 2) они своеобразны и по социальной основе и по чисто лингвистическим признакам, а потому никак не сводимы целиком к двум первым языковым сферам, 3) изучение их выделяется и специфической чертой теоретического порядка, что ведет к выработке и особых научных методов. Эта черта — теснейшая взаимная обусловленность двух или нескольких языковых систем, находящихся в распоряжении каждой социальной группы (соответственно индивида) в силу того, что она (или индивид) сопринадлежит одновременно нескольким и разным по охвату коллективам [1]).

4

Какие особенности социального состава городского населения должны быть приняты во внимание, как существенные условия особого языкового быта [2])?

Извлекаю ряд положений из работ социологов.

„Дифференциация между городом и селом служит важным фактом экономической истории, ибо им обозначается отделение промышленности от земледелия" [3]).

---

[1]) Так, например, группа земляков—скажем „саратовских"—работает во флоте и входит в коммунистическую партию. Эта троякая социальная принадлежность имеет отражение и в трехсоставности их языковых навыков: на саратовском диалекте они могут обращаться между собой и с „родней", на матросском жаргоне—с моряками и, наконец, в какой то степени располагают они и литературным языком, без которого не могли бы участвовать в жизни партии.

[2]) Городов в Союзе еще только 721 (при Петре I их было 314) и горожан, по переписи 1926 г.,—лишь 14,3%. Ср. в Англии городского населения 78%, в Бельгии 60%, Германии 56,1%, С. Штатах 51,4%, Франции 41,3% (все эти данные из книги „Города СССР". Изд. НКВД. М. 1927). Несомненен у нас в ближайшем будущем рост числа и величины городов.

[3]) А. Вебер. Рост городов в 19-м столетии. СПБ. 1903, стр. 170.

„Город представляет общественный спектроскоп, он анализирует и фильтрует население, отделяя и классифицируя различные его элементы. Весь прогресс цивилизации представляет собою процесс дифференциации, и город является самым важным дифференциатором" [1]).

„В среднем в 33 больших городах Германской Империи 50,9% всего населения падает на промышленность, 26,1% на торговлю, 9,4% на государственную службу и свободные профессии, 8,5% на людей без занятий (в том числе 6,1% на рантье и пенсионеров) наконец 5,1% на различные другие источники дохода. Если теперь принять в расчет, что по меньшей мере $^2/_3$ торговцев и коммерсантов живут тем, что снабжают промышленных рабочих, и что из того же источника черпает свой доход еще часть из других групп, то можно сказать, что $^3/_4$ населения большого города живет прямо или косвенно от промышленности" [2]).

В Союзе по данным переписи 1923 г., городов с преобладающей социальной категорией служащих было 41,1% и с наибольшей группой рабочих 32,8%, остальные города—„деревенские", с преобладанием лиц, живущих от доходов своего хозяйства. А всего в городском населении Союза (без Зак. СФСР) в 1923 г. было рабочих 25% (+прислуги 3,8%); служащих 20,3% (+свободных профессий 0,8%); хозяев 15,8% (+помогающих членов семьи 8,6%); иждивенцев государства и общественных учреждений 8,2%, прочих занятий 7,6%, безработных 9,9%. В моем распоряжении нет аналогичных сведений о средних числах для разных категорий горожан во всем Союзе,—но могут быть приняты за показательные опубликованные данные двух больших городов: Ленинграда и Киева. В Ленинграде (1926 г.) из 1.590.770 человек населения—рабочих 287.325, служащих 168.288+дворников, сторожей, прислуги, парикмахеров 72.837, (всего в двух последних группах 241.125, а вместе с иждивенцами 1.100.000), хозяев с наемными рабочими 4.528, кустарей свыше 60.000 ч., свободных профессий 4.569, безработных 112.553, стипендиатов 33.605, пенсионеров 32.428. („Вечерняя Красная Газета, № 350 (1668) от 29 XII 1927 г. и № 22 от 23/1928 г.

В Киеве (1926 г.) из 513.629 всего населения—рабочих 52.903 (+их иждивенцев 81.056), служащих 55.030 (+их иждивенцев 82.684), а всего с иждивенцами в этих группах 279.625; пенсионеров 9.153 (+иждивенцев 7.228); стипендиатов 5.999 (+иждивенцев 1.199); безработных 28.995 (+иждивенцев 22.692); свободных профессий 3.332 (+иждивенцев 2.722); торговцев 7.756 (+иждивенцев 12.933); хозяев, домовладельцев и нетрудящихся 3.589 (+иждивенцев 5.238); кустарей и пр. 31.475 (+иждивенцев 46.215).

---

[1]) Ibidem, стр. 433 и след.

[2]) К. Бюхер. „Большие города в их прошлом и настоящем" (Сб. Большие города... СПБ. 1903 г.), стр. 22 и сл.

Уже сравнение данных этих 2-х городов очень показательно. Чем больше город—тем значительнее удельный вес двух основных групп—рабочих и служащих. В Ленинграде они (с ижд.) составляют 69%, в Киеве 54,4%. Все остальные группы относительно очень малы.

Нет нужды говорить, что показанный состав населения резко отличает город от деревни. Второй отличительной особенностью является наличие „иностранцев"—и соответственно ему „многоязычие" города, но об этом в другой статье [1]).

Соответствует ли установленная социально-экономическая группировка лингвистической? Можно ли думать, что в городе столько диалектов, сколько профессий или социально-экономических категорий? Пока нет большого достоверного материала о языковом быте города, на этот вопрос научного ответа дать нельзя. Можно выставить только несколько априорных суждений, основанных главным образом на разработке соответствующих материалов на Западе.

5

Тесная бытовая спайка обусловливает языковую ассимиляцию, образование своеобразных у данного коллектива разговорных (и письменных) типов речи. Следовательно, мы могли бы пред-

[1]) Приведу и здесь статистические данные: в Ленинграде на 15/III 1923 года было всего населения 1.071.103. Из них:

русских	916.836	татар	8.316
евреев	52.373	украинцев	7.341
поляков	30.704	финнов	6.776
немцев	12.587	литовцев	4.699
эстонцев	10.930	белоруссов	3.482
латышей	10.496		

Всех других национальностей (в отдельности)—меньше чем по 1000 человек т. е. меньше 0,1% (См. Материалы по статистике Ленинграда, вып. 6. Л—д. 1925, стр. 236).

В Киеве (в пределах новой черты города) по предварительным данным переписи 1926 г. из 513.637 чел. было:

украинцев	216.528	
русских	125.514	
евреев	140.256	(+ караимов 204, всего 140.460).
поляков	13.706	
белоруссов	5.436	
немцев	3.554	
чехов	984	
латышей	805	
татар	733	
армян	638	
литовцев	610	

Всех прочих национальностей меньше, чем по 500 чел., т. е. меньше 0,1%.

Эти данные показывают, что большие города и в национальном, как в социально-экономическом делении, распадаются на немногочисленные крупные группы. И то и другое деление имеет соответствие в языковом размежевании, однако не полное или не прямое. Как некоторые пары социально-экономических групп имеют один язык, так и национальные коллективы почти всегда двуязычны или многоязычны и кроме разных языков имеют общий язык.

полагать некоторую языковую спецификацию, например у студенчества, солдат и моряков, у рабочих одной фабрики и в несколько меньшей мере у лиц, принадлежащих к одной профессии,—у служащих одного учреждения и у служащих вообще,—в меру постоянства, прочности контингента этих групп [1]).

Никакого языкового разнообразия нельзя предположить у лиц свободных профессий или „хозяев" или кустарей. У торговцев должны быть отличительные „профессиональные" языковые элементы, особенно в виду большой устойчивости этой группы [2]).

Во французской лингвистике находим два крайних взгляда на лингвистическую ситуацию современного города. Дельво насчитывает в Париже 284 арго (при чем в его списке отдельно фигурируют напр. argot des imprimeurs и argot des typographes): „В Париже каждый говорит на арго. Иностранец или француз-провинциал, отлично знающий язык. Боссюэ и Монтескье—не поймет ни слова, когда попадет в мастерскую художника или в рабочую харчевню, будуар кокотки, редакцию газеты или даже в бульварную толпу. Во Франции говорят по французски, но в Париже слышится арго, притом меняющийся от квартала к кварталу, из улицы в улицу. Сколько профессий, столько жаргонов" [3]). Это ненаучное суждение досужего наблюдателя. На противоположной точке зрения стоит, например, Л. Сэнэан [4]). „Разные профессиональные классы когда то имели каждый свой специальный язык, насыщенный арготизмами: кровельщики, каменщики, жнецы, шелкоделы, сукноделы, льночесальщики, каменоломы, землекопы...

Это были настоящие жаргоны, т. е. тайные языки—доступные только профессионалам, членам замкнутых цехов. Такое положение вещей целиком переменилось с облегчением и ускорением средств сообщения. А раз бывшие некогда условия изоляции отпали, последовали сношения разных профессиональных классов, все более и более частые, а вместе с тем и постепенное смешение языковых особенностей.

Профессии и ремесла теперь уже не располагают специальными языками, но лишь номенклатурой, технической лексикой,

---

[1]) Тут надо отметить текучесть личного состава фабрик и учреждений. Напр. на заводе „Балтвод" за 10 месяцев 1927 г. ушло 1000 рабочих, принято вновь 1500 чел. На фабрике „Рабочий" из 5000 чел. за год сменилось 1600, т. е. около 30%.

„Красная Вечерняя Газета", № 256. От 22/IX—27.

[2]) Отмечу поразительную живучесть напр. рыночного зазыва: на одном из Ленингр. рынков мой ученик записал зимой 27 г. след: „Ай да мясо... Сам бы ел, да деньги надо". Ср. у Достоевского, „Записки из Мертвого дома", с. 332 (изд. ГИЗ'а 1927 г.): „Калачи, калачи,—кричал он входя в кухню,—московские, горячие. Сам бы ел, да деньги надо".—Еще раньше это выражение, как „торговое", задокументировано Далем (Пословицы русского народа, ст. 580. М. 1862. Составление сборника было закончено в 1853 г.: см. „Напутное", ст. I).

[3]) Delvau. Dictionnaire de la langue verte. 1876. (Préface).

[4]) L. Sainéan. Le langage parisien au XIX-me siécle. Paris 1920, p. 181 et suiv., p. 128 et suiv. (Курсив мой Б. Л.).

основные элементы которых проникли и усвоены простонародной речью".

И в другом месте: „Мы будем изучать последовательное отражение этих специальных факторов, разнообразных и многочисленных, на лексике низового языка (bas-langage), и прежде всего будем различать при этом две социальных группировки сообразно с тем, принадлежат ли их представители к легальным классам или они живут более или менее „на окраине общества" (en marge de la société).

Само собою разумеется, что мы не будем пересматривать всех профессиональных классов. В лингвистическом отношении, что нас здесь и интересует, только небольшое число их оказало действительное влияние, и среди них армия, моряки, рабочие дали особенно много... Прибавим, что специальная лексика солдат, моряков, рабочих принадлежит XIX веку, и что все они подверглись сильному влиянию воровского жаргона, который таким образом имел возможность разными путями проникнуть в простонародную парижскую и провинциальную речь".

Я привел такую длинную цитату из книги Сэнэана, так как он один только и может быть назван зачинателем научной разработки языка города, и так как с другой стороны в этих как раз положениях он имеет и ряд единомышленников, что заставляет пристально обсуждать их. Сравните мысль Ш. Балли [1]): „Разговорная простонародная речь продолжает свой поступательный ход, тем более обеспеченный, что он подземен,—он течет как живая вода под крепким льдом книжного условного языка; затем в один прекрасный день лед сломан и шумный поток простонародного языка заливает недвижную поверхность, возвращая ей жизнь и движение".

Здесь та же концепция всех типов городского языка, в противоположность литературному, как одного „простонародного наречия" или „низового говора" (bas-langage или, реже, la langue populaire Сэнэана) [2]).

Я задержусь на критическом обсуждении этого взгляда, так как он легко может быть неверно понят и дурно использован.

Сэнэан, как мне кажется, очень упрощает эволюцию арго и несколько забегает вперед по линии намеченного пути их развития.

Трудно сейчас обсуждать вопрос о том, насколько замкнуты и разобщены были профессионально-групповые арго до начала XIX века. Мы располагаем слишком недостаточным и неопределенным материалом. Сближение и даже как бы „слияние" ряда

---

[1]) Ch. Bally. Le langage et la vie (1926. Paris, Payot), p. 16.

[2]) Впрочем следует отметить, что Сэнэан, кроме литературного языка, крестьянских говоров (patois) и „низового говора", выделяет еще 4-ую категорию языковых явлений в объеме понятия национального французского языка: это la langue générale—„разговорная речь французской буржуазии". Здесь очень существенное преимущество перед другими классификациями.

арго в новейшее время обусловлено не столько „развитием средств сообщения“ (Сэнэан), сколько превращением бродячих разбойных банд, бродячих ремесленных артелей в оседлые, в качестве постоянных групп городского населения. Именно рост больших городов поглотил и продожает поглощать все „не крепкое земле“ население страны. Иные условия общения здесь, конечно, отразились на составе арго и характере их взаимоотношений. Если раньше малоизвестные иностранные языки (как древне-еврейский, ново-греческий или цыганский) и крестьянские диалекты были основными источниками для их пополнения, то теперь к этому прибавилось влияние литературного языка. Особенно обширный вклад его—техническая терминология, использованная вне собственного и прямого применения, т. е. за рамками профессии—в смысле времени и места пользования этой терминологией и в смысле социальной базы такого словоупотребления.

Заимствования из крестьянских диалектов (словарные и др.) тоже не прекращаются в новых условиях развития арго—в больших городах, так как все увеличивается приток пролетаризуемых крестьян, пополняющих и армию и рабочий класс и немалую группу деклассированных. Однако, теперь деревенские диалекты отражаются в арго совсем иначе, чем в древности. Тогда они служили знаковым материалом для „свободного словопроизводства“ (термин Esnault'a) в целях создать тайную речь; теперь они просачиваются вполне непроизвольно, как незамещенный пережиток первичных языковых навыков,—материнского языка некоторых групп городского населения.

Изменилось и взаимоотношение арго с литературным языком (и ближайшим к нему типом разговорной речи „образованых“). Прежде арго были запрещенными диалектами, и литературные языки были ограждены от их воздействия предубеждением—„стыдливостью“ или презрением к ним высших классов. Новое положение вещей удачно охарактеризовано Марсэлем Коэном[1]): „Уничтожение каст, упадок тайных обществ, вполне открытая организация даже революционных объединений, стремление классов через схватки и потрясения к слиянию—вот современные условия, вполне объясняющие проникновение арготического материала в общий (французский) язык“.

От изоляции языковой (как и всякой другой) мы уже далеки, но и от единства еще тоже далеки. Усилившийся взаимный обмен, большая однородность источников пополнения при растущей солидарности городского населения неизбежно приведут, конечно, к образованию однотипного разговорного языка города, параллельного, но не совпадающего с книжно-литературным. Однако, пока еще отчетливо различны системы разговорной речи у городской „верхушки“ (более устойчивой) и городских „низов“ (прежде

---

[1]) Marsel Cohen. Notes sur l'argot. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. T. 21, fasc. 2. Paris, 1919, p. 141.

всего чернорабочих, группы наиболее текучей). Да и кроме этих полярных речевых типов намечаются даже сейчас (при совршенно ничтожном еще материале по городскому языковому быту) несколько обособленных арго (воровской, морской) как у нас, так и в больших городах Запада. Работа Сэнэана, из которой выше приведено оспариваемое сейчас положение [1]), убеждает в этом в полной мере. Давши в начале книги мало удачную попытку вывести общие фонетические и морфологические признаки всех парижских арго (как единого bas-langage), Сэнэан в дальнейшем делает обзор арготической лексики в порядке социологической классификации (солдаты, моряки, рабочие, апаши, босяки, шулера, комедианты, проститутки и т. д.), и тут оказывается, что даже при доминирующем у него интересе к лексическим совпадениям словарный состав арго разных социальных групп является очень разнородным. Дальнейшее (об источниках и аналогиях в структуре разных арго) нисколько не ослабляет этого основного впечатления от его материала. Так же мало „сливаются" и немецкие арго, как можно судить по работам Гюнтэра и Клюгэ [2]).

Даже и большие города еще на перепутьи от языковой раздробленности к широким объединениям.

6

Кто исходит при изучении арго от литературного языка, как нормы, тот конечно не может признать их за самостоятельные языковые системы. И безразлично, — исследуют ли при такой точке зрения совпадения с литературным языком или расхождения, получается, да только и может получиться, учение о „паразитических" языках (Коэн). Не получается особого объекта лингвистического исследования и при разрозненном изучении истории арготических слов (Гюнтэр, Клюгэ и др.), хотя такое изучение, как и выше указанное, сравнительное, методологически как будто вполне законно. Но возможна и необходима еще третья точка зрения на арго,—так сказать „не сверху вниз, а снизу вверх". Выдавая арго за паразитическую наслойку, мы тем самым предполагаем, будто говорящие на арго могут говорить и на литературном языке, но в силу тех или иных обстоятельств отталкиваются от нормального языка. Иначе говоря, предпосылкой этого взгляда является представление о двуязычии с литературным языком в качестве первого и основного компонента.

Когда называют „арго" или жаргоном неумелое употребление литературного языка, неполное им владение в промежуточных группах городского населения (как, например, у некоторых героев

[1]) Le langage parisien en XIX siècle. Paris, 1920.
[2]) L. Günther. Die Deutsche gaunersprache. Leipzig, 1919.
Fr. Kluge. Deutsche Studentensprache. Strassburg, 1895.
„ „ Seemannssprache. Halle, 1911.

Зощенко), то делают по меньшей мере терминологическую ошибку. Ряд индивидуальных языковых неологизмов (в результате смешения основного для данного лица диалекта со вторым, мало ему известным) не может быть признан, конечно, ни самостоятельной лингвистической системой, ни „арго", так как в этом случае нет никакой „условности", обобществленности и, главное, нет дублирования терминов, второго языкового ряда. Эти индивидуальные неологизмы по большей части незаменимы, выражают в намеке какие то смысловые новообразования и могут послужить источником пополнения арго, как и литературного языка, но не относятся еще ни к тому, ни к другому.

Мне кажется более правильным представление об арго, как о двуязычии, при котором арготический ряд принимается за основной и исходный; а второй языковой ряд надо пока считать искомым (а не утверждать, что им может быть только литературный язык), и во всяком случае второстепенным.

Ришпэн, пишущий эпатирующую книгу стихов La chanson des Gueux (1876) на „чистом" арго, или Бабель, стилизующий одесский „низовой" говор не могут быть сочтены за настоящих носителей арго, а таковыми их должен бы признать, оставаясь последовательным, Коэн. „Говорящим на арго" должен быть назван именно тот, для кого литературный или всякий другой знакомый ему тип языка так же вторичен, затруднителен, не обычен, как для Ришпэна, Бабеля и для нас подлинные арго.

В силу этого взгляда надо будет отвергнуть шаблонный (у французских исследователей) критерий при суждении о лингвистической квалификации арго: имеют ли они свою особую фонетику, морфологию? („Особая" лексика—вне сомнений). Арго принадлежат к смешанным языкам, особенно в виду двуязычия их носителей. Они имеют свою фонетику и морфологию, хотя и не „особую", не оригинальную. Но принципиального отличия от литературных языков (всегда тоже смешанных) тут нет, есть лишь относительное, количественное различие.

Фонетические и морфологические элементы арго так же, как и словарные, в отдельности могут быть сведены к разным первоисточникам (для них подыскивают аналогии или эквиваленты то в литературных языках, то в каких нибудь диалектах), однако нигде не может быть указана такая же или подобная совокупность элементов и структура их. Языковая система арго только тогда и можеть быть названа „частичной" (Коэн), т. е. недостаточной, если за „арго" принимать лишь ряд отличий от литературного языка.

Тут Ришпэн или Бабель оказались более проницательными наблюдателями и более добычливыми лингвистами, чем Коэн, Сэнэан и др., потому что ощутили и показали именно системность и полноту арго (хотя и не могли воспроизвести ее

в полной неприкосновенности по совершенно понятным основаниям). Французские лингвисты ввели различение арго и специальных языков. Черты различия сформулированы М. Коэном в цит. статье. Однако с ним трудно согласиться.

Арго не совпадает со „специальным профессиональным языком" не потому, что в нем слова оказываются потенциальными синонимами к другим каким нибудь и не единственными незаменимыми наименованиями, а потому, что никаких „специальных профессиональных языков" нет,—есть лишь специальная профессиональная терминология в литературных и других языках [1]), тогда как арго является равноправным со всяким другим смешанным языком более или менее обособленного коллектива, притом всегда двуязычного. Социальная (а не индивидуальная) природа арго, его системность и устойчивость (наличие особой „нормы арго") являются его важными признаками.

Вопреки Коэну и Сэнэану необходимо отграничить арго от „словесной игры", вернее „словесного маскарада" школьников и торговцев (loucherbem французских мясников и др.), состоящих в механически однообразном искажении всех или некоторых слов, при неприкосновенной верности в остальных элементах нормальному языку, так как здесь нет никакого двуязычия, а лишь условное использование данного языка в очень специфической функции, как например в поэтических формах терцин или сонета. Из за отнесения этих явлений к одной категории с воровским и прочими жаргонами и получилось несостоятельное определение понятия арго у Коэна. Только известная речевая система, притом имеющая значение основной, первой для какой нибудь социальной группы, может быть названа „арго":

В отличие от крестьянских диалектов и литературного языка она всегда имеет параллельный языковой ряд, тесно связанный и во многом совпадающий с первым.

Мы видим специфический признак арготического двуязычия в неотчетливом разграничении, вернее неполном выделении второго языкового ряда. С одной стороны, в арго постоянно включаются элементы второго ряда (обычно такого, который имеет большее социальное значение, приобщает к более широкому кругу), с другой—ряд элементов его непереводим, т. е. носители арго не знают эквивалента из другого ряда. Пример. Обследуя в лингвистических целях фабрику „Печатный Двор", я нашел в книге личного состава пометку: „уволен за балду". Все, к кому я обращался за объяснением, смущались и не совсем охотно, с большими затруднениями объясняли фразу явно неточно

[1]) Необходимо критическое отношение к этой повторяемой антитезе арго и специальных языков, т. к. они теснейшим образом связаны в языковом быту города, и теоретическое разграничение, не бесполезное, конечно, имеет вполне абстрактный характер; ведь мы еще очень далеки от такого совершенного знания арго, при котором можно бы было утверждать, что у данного профессионального термина нет синонима или что он употребляется только в своем „точном" значении.

и неудачно. Один: „Значит трепался, с мастером что ли ругался"; другой: „лодырничал или на работу пьяным выходил". Еще пример. На улице подростку „попало" от другого, постарше; уходя, он кричал: „Заимел свиную кожу и задается, паразит". Если бы я предложил, как перевод на литературный язык: „Ишь, раздобыл кожаную куртку и важничает, подлец", то, может быть, я и приблизился бы к значению этой фразы, но не больше, чем сами носители арго при истолковании предыдущего примера.

Точных эквивалентов тут нет уже хотя бы потому, что арготические словечки и конструкции часто имеют такой эмоциональный и волевой заряд, какого литературные языки не имеют ни для кого, а уж менее всего для говорящих на арго. Совпадения с литературным языком в некоторых элементах лексического состава (свиной, кожа, паразит) в то же время оттеняют обособленность арго совершенно нетождественным значением этих элементов.

Когда мы будем располагать большим соответствующим материалом, то вторым языковым рядом городских арго может быть и окажется некий „низкий" общий разговорный язык (я бы назвал его „городским просторечием"), который довольно безуспешно (путем „критики текстов") пытался определить для Парижа Сэнэан. Одно ясно, этим искомым не окажется литературный язык в собственном смысле термина [1]).

Итак, мы стоим перед большими трудностями в изучении городских арго. Ряд словесных знаков и формальных категорий

---

[1]) Только что вышла книга проф. А. Селищева. „Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917—1926". Москва. 1928. Давая ценные материалы, она не представляет никакого „этапа" в разработке нашей темы, так как остается в русле оцененных выше традиций. Новшества, внесенные в „русский язык войной и революцией" (обнаруженные по очень спорному субъективному чутью, часто и очень не новые „новшества", во всяком случае не периода „1917—26"), так и рассматриваются под знаком „русского языка" вообще. Большинство фактов, приводимых в отдельных §§ книги, относится к литературному (книжному) языку, некоторая часть относится к литературной разговорной речи, кое что наблюдено и во внелитературных говорах, но не только городских, а и деревенских. Ценность материала в том именно, что он почти всегда довольно точно приурочен и хронологически и территориально или социально. Но план книги, классификации материала отходит от неприемлемой уже рутины только в том отношении, что после ряда глав, трактующих о русском языке вообще (II—VI), и перед главами о новшествах в деревне (тоже „вообще") и в языках нацменьшинств (VIII—IX) вставлена главка, весьма краткая и скудная—„Языковые новшества на фабрике и заводе" (гл. VII). Но и в этой главе мы имеем только отрывочные указания на совпадения и искаженные аналогии с литературными языком, да на влияние воровского жаргона (особенно у молодежи); последнее, впрочем, иллюстрируется перепечаткой отрывка из „Комсомольских рассказов" Колосова (М. 1926). Относительно мало в книге непосредственных наблюдений и записей. Преобладает „книжный" материал, особенно беллетристический, без минимальной и совершенно необходимой критики источников. Для автора кроме литературного языка и крестьянских диалектов нет никакой третьей категории языковых явлений.

повторяется в нескольких языковых типах, но, одни и те же для поверхностного взгляда, эти языковые элементы каждый раз являются в иной функции в силу принадлежности к разным системам речи; они осложнены специфическими, семантическими и стилистическими признаками, уследимыми только в полноте контекста, а иногда даже только во всей бытовой ситуации данного лингвистического факта (как в приведенном выше примере).

Таким образом, центр тяжести исследования в силу этих особенностей материала должен переместиться. Интерес и полезность сравнительно-исторических разысканий о словарном, формальном и звуковом составе городских арго нельзя отрицать. Они необходимы, как подготовительная стадия изучения. Но на них нельзя остановиться. Меж тем даже для старейших литературных языков системные сочетания и соотношения элементов, их функциональное осложнение очень мало разработаны, исследования в этом направлении требуют методологической изощренности и отменного знания материала.

Одна из трудностей при изучении языковой системы арго, как было указано,—в чередовании арготизмов с элементами другого, более общего языкового ряда. Еще большую трудность порождает постоянное „отталкивание“ от этого ряда, т. е. подразумевание его. Вот две реплики из записанного мной разговора двух рабочих в трамвае:

1. „Ты где теперь работаешь?“

2. „На Марсовом Поле... нанялся потолки красить“.

Оба хохочут.

Для постороннего—тут нет никакого арго, слова на месте и смысл какой то есть. Условное значение—„я безработный“ дано тут осложненным несколькими семантическими „обертонами“, возникающими именно из сопоставления арготического значения фразы с „общим“ (или „прямым“): Марсово Поле—когда то арена деятельности и убежище стоящих вне закона, „потолки красить“—специальность, с которой не разживешься, наконец, „потолки М. П.“—небо. Отнимите значение „безработный“, и осмысление этой фразы пойдет совсем иными путями (потенций остается много). Отнимите обычные значения использованных слов с их побочными возможностями, и весь „букет“ арготического юмора исчезнет [1]).

Так мы обнаруживаем здесь еще и элементы речевой эстетики.

Этим примером я закончу статью.

Задачи и характер исследования в области нашей темы, мне кажется, намечены. Сложность его и богатство материала едва ли не очевидны.

---

[1]) Можно видеть в этом каламбуре рабочего проявление индивидуального вкуса. Известны, шаблонны другие иронические эвфемизмы слова „безработный“: „служу у графа Ветрова“, „в рукопротяжной работаю“.

Г. ВИНОКУР

ГЛАГОЛ ИЛИ ИМЯ?

I

Опыт стилистической интерпретации [1])

Тема этого опыта—так называемые отглагольные существительные с точки зрения их стилистического назначения. На конструкции с отглагольными существительными, получившими очень широкое распространение в современной письменной речи, не раз указывали как на образчик стилистической дефектности [2]). И в самом деле, в общем случае представляется совершенно бесспорным, что употребление отглагольно-именной конструкции там, где возможна нормальная глагольная, делает выражение более „худосочным", „вялым", „книжным", т. е. сообщает ему все те характеристики, которые применяются нами обычно по отношению к продуктам канцелярского стиля. Вот один из типичных случаев этого рода, заимствуемый мною из недавней журнальной статьи одного небезызвестного историка литературы: „В силу сперва *приближения* его к себе Николаем.., Пушкин попадал в среду придворной знати. (Ср.: В силу того, что Николай сперва *приблизил*—resp.—*приближал* его к себе.., Пушкин... и пр.). Уродливо-карикатурный случай того же рода дает современная политическая статья, в которой мне встретилась следующая несколько невероятная фраза: „На лицо было острое *прислушивание* к тому, что творится во враждебном нам лагере". Но было бы ошибочно предполагать, что эти „невероятности" ограничиваются рамками периодической печати. Увы, они сплошь да рядом попадаются и в самых высоких жанрах повествовательно-ученой прозы, о чем свидетельствуют хотя бы нижеследующие образцы. „Эта черта в нем, повидимому, понемногу сглаживалась под влиянием его *вращения* в совершенно ином мире" (Л. Сабанеев, Воспоминания

---

[1]) Эта работа была прочитана в черновом виде в заседании Комиссии Живого Слова Литературной Секции ГАХН в апреле 1927 г.

[2]) См. особенно статью А. М. Пешковского: „Глагольность как выразительное средство", в его „Сборнике статей", Л. 1925, стр. 140—152; см. также книгу: М. Гус, Ю. Загорянский, Н. Каганович. Язык газеты, М. 1926.—Несколько слов сказано по этому поводу и в моей книжке: Культура языка, М. 1925, стр. 69—70.

о Скрябине, М. 1925, стр. 71). „Он дал себе внутреннюю аннибалову клятву все сделать, что было в силах для *поборония* [1]) страшного зла“ (И. Гревс, История одной любви, М. 1927, стр. 40).

Что можно было бы сказать относительно хронологической давности этого явления? Подробные исторические исследования не входят сейчас в мою задачу, но уже и невооруженным глазом видно, что подобная замена глагольной конструкции через отглагольно-именную отнюдь не является исключительно лишь порождением современности. Приведу наудачу несколько иллюстраций, полученных не в результате специальных разысканий, а попутно при чтении соответствующих литературных памятников с совершенно иными целями. „Это обнаруживается как в их отношениях к другим князьям, так и в *ведении* ими внутренних дел своего княжества“ (В. Ключевский, Курс русской истории, ч. II, стр. 12). „Сам он иногда даже насиловал себя, стараясь быть борзописцем и фельетонистом ради *принесения* общей пользы“. (Воспоминания Н. Страхова о Достоевском, М. 1883, стр. 221). „И вышла, во первых, галиматья, а во вторых что то вроде подлого отпирательства от прежних похвал Гоголю и *сваления* вины на других“ (Белинский Боткину. См. Пыпин, Белинский, ч. II, стр. 270). „Эта неблагородная трусливая жадность к популярности и *игранию* роли на свете“ (Дневник Никитенки, изд. Лемке, т. II, стр. 32). „Гонения Буало против чудесного христианского, против Астарта, Вельзевула, Люцифера, и *защищение* мифологии языческой проистекают частью из той же причины“ (С. Шевырев, Теория поэзии, 2 изд., стр. 105). „Вчера получили мы письмо от Жуковского из Эмса: теперь он должен быть в Эгре, хвалится *поправлением* своего здоровья“ (Вяземский Пушкину. Переписка Пушкина, т. I, стр. 362). Наконец, и сам Пушкин начал писать одно письмо так: „Я не люблю *писанья* писем“, но сейчас же поправился: зачеркнул *писанья* и поставил: *писать* (См. Письма Пушкина, 1927, т. I, стр. 8). Можно быть наперед уверенным, что специальными историческими исследованиями очень не трудно было бы установить одинаковый исторический возраст подобных конструкций и русского письменно-канцелярского языка вообще, поскольку о нем можно говорить как об особом речевом укладе и стилистической тенденции. Но нас интересует сейчас не историческая судьба отглагольно-именных конструкций в русском языке, а их стилистическое назначение в системе современной литературной русской речи. И с этой точки зрения исторические иллюстрации имеют для нас значение лишь

---

[1]) Вряд ли это опечатка. Суффикса-*оние* русский язык, правда, до сих пор не знал, но производство отглагольных имен этого типа настолько к нашему времени автоматизовалось, что следует считаться с возможностью и такого преодоления конфликта между инфинитивной основой и начальной гласной суффикса. Впрочем данному автору и вообще свойственно изобретать особенно невероятные отглагольные имена. Ср. там же стр. 49: „Жажда общения с любимою... умерялась... *продуманьем* воспоминаний о ней“.

как указания на то, что изучаемое нами явление не есть какая то случайность, обусловленная временными причинами, а результат некоторых идеальных закономерностей в сфере грамматики и стилистики.

Спросим себя прежде всего, действительно ли всегда недостатки указанных синтаксических построений требуют в них замены отглагольного имени через соответствующую чисто глагольную форму? Нет, далеко не всегда, потому что, не говоря об ином, здесь сразу приходят на память такие условия, в которых простой замены имени через глагол недостаточно для уничтожения стилистических дефектов, связанных с отглагольно-именной конструкцией. Я имею в виду ту особенность глагола как семантической категории, в силу которой в известных условиях реальное значение глагола выветривается, и глагол превращается в несамостоятельное слово, приобретая все признаки формального элемента речи. Таковы, напр., экзистенциальные глаголы, в особенности в значении связки в составном сказуемом, напр., *стал богатым*, *сделался болен*. Сюда же относятся некоторые окаменевшие глагольные метафоры, в роде *вести переговоры*, *принять меры*, и длинный перечень других переходных глаголов, не имеющих конкретного смысла без своих субъектов и дополнений, почти целиком несущих на себе в этих случаях функцию предиката [1]). Понятно при этом, что этого рода семантическая ущербность не ограничивается собственно-глагольными формами, но переходит и на все отглагольные образования—причастия, деепричастия, отглагольные имена. Отсюда следует, что в тех случаях, когда в отглагольно-именной конструкции имя стоит вместо глагола, принадлежащего как раз к разряду этих „пустых“ глаголов, стилистическая задача не может быть решена простой подстановкой глагола на место имени. Канцеляризм отглагольно-именной конструкции такой подстановкой, правда, как будто и устраняется, но только для того, чтобы уступить место тому же канцеляризму в новом обличьи. Семантическая опустошенность таких глаголов делает их вообще лишними, и только полный пропуск соответствующего глагольного слова делает стилистически приемлемыми те синтаксические построения, в которых оно участвует. Вот заимствованные из живой повседневной словесной практики примеры—до и после редакторской правки:

Сегодня начался процесс (имя рек) обвиняемых в *совершении* крупных злоупотреблений.	Сегодня начался процесс (имя рек) обвиняемых в крупных злоупотреблениях.

[1]) Ср. отдельные указания на природу этого явления в „Синтаксисе русского языка“ ак. А. А. Шахматова, в. I, §§ 193, 197 и сл.—Ср. также статью F. J. Junker'a. Die indogermanische und die allgemeine Sprachwissenschaft, в сб. Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1924, S. 53.

Поэтому необходимо спешить с подписанием *заявлений* о согласии возобновить работу.	Поэтому необходимо спешить с заявлениями о согласии возобновить работу.
Только непосредственная борьба за *создание* рабоче-крестьянской власти.	Только непосредственная борьба за рабоче-крестьянскую власть [1]).
В болгарских политических кругах придают большое значение *получению* этого аванса.	В болгарских политических кругах придают большое значение этому авансу.

Очень много таких образований с причастиями:

Проводимая предпринимателями политика самоубийства.	Предпринимательская политика самоубийства.
Понесенные нами убытки от революции.	Наши убытки от революции.
Интервью, *данное* Муссолини норвежскому журналисту.	Интервью Муссолини с норвежским журналистом.
Оценивая *происходящие* в Мукдене события.	Оценивая события в Мукдене.
Прения, *происходившие* вчера в палате лордов.	Вчерашние прения в палате лордов.

А вот и пример с полной глагольной формой:

Закулисная игра, которая *ведется* между коалицией и нацменьшинствами.	Закулисная игра между коалицией и нацменьшинствами.

Попробуем восстановить в любой из фраз правой колонки опущенный глагол и мы получим несомненную стилистическую нелепость, напр: „Необходимо спешить с тем, чтобы *были подписаны* (или: чтобы *подписать*, *подписывать* и т. п.) заявления о согласии возобновить работу". Или: „Борьба за то, чтобы *была создана* (или: чтобы *создать*) рабоче-крестьянская (—ую) власть". Наглядно обнаруживается это и на следующем примере, почерпнутом мною из одного ораторского выступления: „А если еще и есть в тех или иных местах у сравнительно небольших профсоюзов подобные затруднения, то... мы из них выйдем путем *проведения* полной перегруппировки союзных средств". Слово: *проведения*—здесь совершенно лишнее, и если мы сказали бы вместо него: „путем того, что проведем" или „тем, что проведем", то стилистическая дефектность фразы осталась бы неустраненной.

Все это не относится еще прямо к собственной природе отглагольных имен. Если тем не менее я решаюсь задержать внимание читателя на этих „пустых" глаголах, то это потому, что

[1]) Контекст, который здесь опускается, исключал возможность предполагать, что речь здесь идет о борьбе за уже реально-существующую власть, а не за власть, как идеал. Mutatis matandis—это относится и к другим примерам.

мне необходимо показать наличность своих уязвимых пунктов и в смысловой структуре глагола. Возможны ситуации, когда от глагола надлежит избавиться,—вот вывод, который нам нужен для дальнейшего и позволяет вплотную подойти к вопросу о грамматическом смысле и стилистической функции отглагольных имен. Для этого обратим теперь внимание на второй член нашей конструкции, т. е. как раз на те объекты, субъекты и определяемые слова, которые несут на себе в выше выписанных примерах, после устранения собственно-глагольных форм, предикативный смысл фразы.

II

Уже a priori можно было предположить, что в числе упоминаемых здесь имен с предикативным содержанием, именно, в силу того, что они перетягивают на себя функции предиката, будут встречаться и отглагольные именные образования. И в самом деле, среди наших примеров в том виде, какой они получают после стилистической редакции, мы встречаем: *заявление, злоупотребление, прения, значение*—все это слова отглагольного типа с более или менее хорошо сохранившимися внешними следами своего отглагольного происхождения.—Не трудно видеть, что в этом „более или менее" кроется новая своеобразная проблема, попытка овладеть которой и приводит кратчайшим путем к решению нашей основной задачи. Достаточно просто на просто обратить внимание на то поразительное обстоятельство, что не все отглагольные существительные, даже при абсолютном и исчерпывающем их морфологическом тожестве, тожественны со стороны своего синтаксического содержания и стилистических возможностей. Что, в самом деле, может быть проще таких слов, как *значение* или *содержание*, и что общего в них, несмотря на морфологическую идентичность, с несуразностями, вроде *играние* или *совершение*? Следовательно, вовсе не грамматическая категория существительного, будто бы незаконно заменившая здесь собою глагольное слово, ответственна за ту стилистическую порочность, которую всякий грамотный по русски совершенно непосредственно, живым и цельным разумением, усматривает в предложениях с отглагольно-именными конструкциями. Ведь есть и еще один способ превращать глаголы в имена существительные: *играть—игра, бороться—борьба* (а не *борение*), *смотреть—смотр* (а не *смотрение*) и т. д., по отношению к которому и вовсе, казалось бы, не может возникнуть никакого стилистического сомнения. Между тем, если эти слова и не отглагольные, то во всяком случае все же глагольные [1]), так как, именно, глагольные

[1]) Следуя верному указанию Д. Н. Ушакова, я сохраняю термин „отглагольные" только для тех имен существительных, которые с морфологической точки зрения являются производными от глагольной основы. Однако, как видно будет из дальнейшего, это морфологическое различение лишено сколько нибудь существенного значения для нашего вопроса.

ным является их корневое и вещественное значение, и никакого отличия в этом отношении между ними и отглагольными словами провести нельзя. Таким образом, первая же попытка отнестись критически к стилистическим явлениям, связанным с употреблением глагольно-именных конструкций, убеждает нас в том, что среди глагольных имен существительных можно установить, по крайней мере, две категории: имена типа *играние* или *смотрение*—во первых, и имена типа *игра*, *смотр*, а также *значение* или *содержание*—во вторых. А. М. Пешковский, считающий обе эти категории равно предосудительными с точки зрения стилистики, совершает несомненную ошибку, когда трактует, к примеру, *выход* и *отставание*, *свист* и *верещание*, как явления одного и того же порядка, и ничего не упоминает о таком важном и вместе с тем наглядном противопоставлении, как *содержание* и *играние*.

Но недостаточно указать на бесспорный факт лингвистического сознания: наличность двух категорий глагольных имен в русском языке. Этот факт нужно еще и осмыслить,—что, впрочем, не так уж затруднительно. Для глагольных имен первой категории отличительным признаком является то обстоятельство, что в них жива еще их глагольная природа, которая находит и свое особое грамматическое выражение. Наоборот, глагольные слова второй категории субстантивировались уже до конца. Глагольность, отглагольность, которая в словах этой категории становится доступной только лингвистической рефлексии, материяльно в них уже не выражена и своих особых грамматических примет не имеет. Что касается, в частности, особенно широко распространенных глагольных слов на *-ание*, *-ение*, то значительное большинство их как раз своими суффиксами и свидетельствует о глагольности своего значения. Здесь глагольность выражена настолько ощутительно, что эти суффиксы *-ание* и *-ение* можно прямо считать формальными признаками глагольности имен. Этому особому глагольному значению суффиксов *-ание*, *-ение* может быть, повидимому, подыскано правдоподобное объяснение в культурной истории русского языка. Так, акад. Шахматов предполагал, что слова на *-ание*, *-ение* представляют не русский, а перенесенный из церковно-славянского тип словообразования. „В русском языке“,—писал Шахматов (Очерк современного русского литературного языка, Л. 1925, стр. 41) — „вместо *-ение*, *-ание* находим *-еньё*, *-аньё*: *спаньё*, диалект. *пеньё* [1]), *введеньё*, или еще *-анье*, *-енье*, с ударением на предшествующем слоге: *катанье*, *глаженье*, *сватанье*, *братанье*; слова, как, *варенье*, *печенье*, *прощанье*, *катанье*, *гулянье*, конечно, русские, но они не имеют уже значения отглагольных существительных, а если получают, то под влиянием книжным“ [2]). Таково, следовательно, происхо-

[1]) Ср. у Грибоедова: „И танцам, и пенью“, Горе от ума, I, ст. 133; также „Я думала к пенью прошла моя пора“, Молодые супруги, I, ст. 41 (по акад. из.).

[2]) См. также статью С. П. Обнорского, „К истории словообразования русского литературного языка“, в сб. „Русская речь“ I (новая серия), Л. 1927, стр. 83—85.

ждение книжности и прочих недостатков наших отглагольных существительных: изолированность, в которой оказались эти *-ание -ение*, естественно способствовала тому, что с ними стал связываться этот особый семантический оттенок „глагольности". А сейчас мы увидим, что, именно, этот оттенок глагольности, т. е. как раз то обстоятельство, что глагольность здесь не устранена, а вовсе не самый факт замены глагола именем и является решающей причиной стилистической какофоничности данных словообразований [1]).

Ведь следует спросить себя, чем, собственно, обусловлено самое возникновение таких имен, как *играние* или *совершение?* Сравнительная грамматика и.-е. языков предполагает, что отглагольные имена (так наз. nomina agentis и abstracta) первоначально возникали на месте инфинитива в сочетаниях глагол плюс инфинитив. Предположение это исходит из того факта, что некоторые категории глаголов, напр., глаголы желания в сочетаниях с инфинитивом настолько тесно с ним сращиваются, что отдельные члены этого сочетания теряют как бы часть своей самостоятельности, а все реченье в целом приобретает значение своего рода формы от verbum finitum (см., напр., K. Brugmann, Kurze vergl. Gramm. II, § 810). В таких случаях появлялась необходимость в о с с т а н о в и т ь первоначальное внутреннее отношение между членами этого реченья [2]), а это достигалось естественно тем, что инфинитив утрачивал свои глагольные качества и получал значение объекта, субъекта и т. п., т. е. возникали вновь п р и в ы ч н ы е для глагола формы синтаксических отношений. Действие, направленное на действие же, рассматривает последнее как свой п р е д м е т, — таков смысл этого процесса. Примером может служить параллель: хочу *любить*—хочу *любви* и пр. [3]). Во всяком случае несомненно, что содержание этого процесса заключается в том, чтобы устранить глагольные качества глагольного слова. Очевидно, что отглагольные существительные не могли бы вообще появляться, если бы в некоторых словосочетаниях (в каких именно—к этому мы еще вернемся) не возникала необходимость лишить глагольное слово его специфически-глагольных качеств [4]). И теперь весь вопрос наш сводится лишь

---

[1]) В целях экономности изложения, в дальнейшем ограничиваюсь иллюстрациями лишь из области отглагольных имен на *-ание, -ение*, рассчитывая, что применить выводы этой статьи к отглагольным именам иного типа, напр., на *-тие* (*взятие, прикрытие* и т. п.) будет нетрудно самому читателю.

[2]) Не забудем, что ведь и сам инфинитив есть по своему происхождению и смысловому заданию, именно, и м я!

[3]) Ср. любопытную в некоторых отношениях книжку И. Лыскова, О частях речи, М. 1925, стр. 25—26.

[4]) Для ясности повторю еще раз, что с точки зрения нашего анализа, чуждого генетических целей, ничего не меняется от того, имеем ли мы дело с отглагольным именем или просто с глагольным: историческое возникновение отглагольного имени из инфинитива или употребление именного дополнения *любви* вместо инфинитивного *любить* в современном языке—ведь и то и иное только частные проявления некоторых диалектических взаимоотношений и переходов в идеальной сфере чистых значений.

к тому, какими средствами располагает язык для того, чтобы дать это необходимое „облегчение" глаголу. Проще всего, разумеется, обстоит дело в таких языках, в которых категория существительного выражается раздельным внешним знаком, напр., артиклем. Тогда нет уже надобности в устранении самих глагольных морфем, так как артикль перевешивает в сочетан. с ними, и глагольность в результате заглушается. Поэтому древний греческий язык или современный немецкий, напр., допускают такое субстантивирование глаголов с большой легкостью. Напр. греч. τὸ ἀποθανεῖν („смерть", собственно нужно было бы перевести *умирание*, если б только не возникающее здесь видовое различие; „буквальный" перевод был бы здесь *умерение* или что либо в этом роде), немецкое das Gehen, das Verstehen, das Sehen *(хождение, понимание, смотрение)* и пр. Английский язык, наоборот, обходится причастным суффиксом *-ing*, допуская в этом отношении самые невероятные с русской точки зрения конструкции, напр.: „I hope you wont mind my *having* a private secretary" — т. е. „надеюсь, вы не усмотрите ничего дурного в моем *имении* личного секретаря" и т. п. Что же касается русского языка, то легко убедиться, что образования на *-ание, -ение* хотя и дают существительные на месте глаголов, самой глагольности, в противовес, напр., аналогичному с ними франц. *-ment*, совершенно еще не уничтожают. Наоборот, глагольность у таких слов, можно сказать, на лбу написана. Какое нибудь *плач* или *свист*, морфологически ничем не отличаясь от всякого иного, не глагольного, имени, оставляет нас совершенно спокойными в стилистическом отношении, тогда как *отставание* или *обертывание* [1]) из за своих специфических формальных качеств невозможны почти ни в каком контексте. Если тем не менее целый ряд слов на *-ание, -ение*, как то мы видели уже и раньше, получил у нас все права гражданства, то этому можно подыскать свои основания. Во первых, мы имеем много дублетных случаев. Рядом с таким глагольным словом, которое лишено особых формальных признаков глагольности, возникает глагольное слово со специфическими признаками глагольности, которое допускается в общий лингвистический оборот потому, что оно выражает какой либо особый оттенок данного значения. В ряде случаев это—видовые различия. Так дублет *ход—хождение* в точности отражает отношение глагольной параллели *идти—ходить*: во втором случае мы безошибочно улавливаем итеративное значение. Рядом с перфективным *блеск* возникла потребность в имени несовершенного вида *блистание*. В иных случаях дублетные слова и вовсе уже являются семантически чуждыми друг другу, так как каждое из них закре-

[1]) Пример этот показывает, что вышеприведенный анализ Шахматова относительно ударения в словах на *-ание, -ение* не следует понимать так, будто всякое слово, в котором ударение стоит не на самом суффиксе, является „русским" с точки зрения словообразования.

плено в качестве обозначения для особой какой либо ситуации. Так, невозможно сказать *отзыв* посла, как иногда пишут в наших газетах, когда речь идет о его *отозвании*; наоборот, рецензия о книге или спектакле возможна только как *отзыв* знатока или специалиста. Ср. также такие дублеты, как *удар—ударение* (в грамматике), *дерзость — дерзание*, *гонки* (спортивн.) — *гонение (-я)*, *письмо — писание* (священное), *иск—искание* (напр., религиозные искания [1]), *читка* (актерская)—*чтение* и т. п. Наконец, существуют также дублеты преимущественно стилистически-художественного содержания, когда различные ситуации, к которым прикреплены соответствующие дублетные образования, распознаются нами по связывающимся с ними экспрессивным нюансам и оттенкам в предметном значении слова, напр., *убийство — убиение*, *месть—отмщение* и пр.

Подобная дифференциация значений в пределах дублетных глагольных имен была бы однако невозможна, если бы русский язык лишен был средства наперед уже гарантировать соответствующим параллельным образованиям на *-ание, -ение* избавление от отягощающей их значение глагольности. Такое средство, присущее впрочем всякому языку, у русского языка есть. Это — забвение формы. Удачно формулировано это у Э. Сэпира, в его превосходной книге „Language“, N.-У. 1921, p. 177: „Одна из наиболее коварных особенностей в лингвистическом развитии состоит в том, что когда оно не в силах уничтожить то, что стоит на его пути, оно обезвреживает его, стирая с него старое значение“. Так и русский язык в тех случаях, когда ему нужно вывести отглагольное слово из его синтаксической изолированности, просто забывает тот особый оттенок значения, который связывается со специфическими признаками отглагольности. И тогда в соответствующих словах все эти *-ание* и *-ение* вовсе уже не значат то, что они значат обычно, — слова эти, как говорит Шахматов, не „имеют уже значения отглагольных существительных, а если получают, то под влиянием книжным“. Окончание *-ание* в самом этом слове *окончание* не есть уже то *-ание*, которое режет наше ухо в каком либо „*распростирании* себя ниц по земле“ [2]). Оно, однако, снова может стать таким специфическим носителем глагольности, для чего забытая форма должна быть искусственно восстановлена с помощью надлежащего контекста.

---

[1]) Иногда можно подметить, что подобные слова предпочтительнее употребляются во мн. числе, тогда как ед. звучит здесь несколько как бы „неинтеллигентно“, напр., *гонения, дерзания, искания*. Это—совсем особый вопрос русской стилистики, которого я здесь ближе касаться не могу. В качестве намека разве на то направление, в котором можно было бы искать ответа на этот вопрос, укажу здесь только на противопоставление в роде нижеследующего: с одной стороны—*требования рабочих были отклонены*, с другой же—*требование прибавки было отклонено*.

[2]) Повторяю свой старый пример (см. Культура языка, стр. 69), который помимо прочего интересен лишним еще усилением глагольности значения через возвратное местоимение *себя*.

Процесс, следовательно, получается такой: *варить—варение ягод—чай с вареньем; печь — печение хлеба — кондитерское печенье, гулять—гуляние с кавалером—веселиться на гулянье.* Во всех этих примерах один и тот же внутренний смысл. Действие внутренне перерождается в предмет, а мешающие этому специфические признаки глагольности устраняются тем, что их особое значение забывается. Думаю, что и орфографические различия связываются с этой дифференциацией не случайно. По мере того, как форма глагольности теряет свое содержание, написания *-ание, -ение*, заменяются через *-анье, -енье*: распростир*ание*, но вар*енье*, отстав*ание*, но прощ*енье* и т. п. Ср. тенденцию писать через *-анье, -енье* терминированные отглагольные существительные в научной литературе: *значенье*, *спряженье*, *вращенье* и пр.

III

Итак, следует различать 1) глагольные существительные с сохранившимся значением глагольности и 2) глагольные существительные без значения глагольности. Матерьяльно и морфологически обе эти категории различаются не всегда, так как имена со специфическими признаками глагольности, попадая под действие закона забвения формы, тем самым переходят во второй разряд, а, с другой стороны, слова без специфических признаков глагольности могут приобретать значение глагольности заново в зависимости от контекста (примеры—ниже). Упреки в стилистической дефектности, которая была охарактеризована во вступительной части этой статьи, как следует из до сих пор сказанного, могут относиться только к именам первой категории, поскольку они исполнены внутреннего смыслового противоречия: будучи вызваны к жизни потребностью избавиться от глагольных качеств значения, они и под субстантивным обличьем эти глагольные качества все же сохраняют. У нас есть простой и хороший способ проверить эти утверждения на фактах живого языка. Если специфические недостатки, свойственные глагольно-именным конструкциям, действительно проистекают от того, что в них не умерщвлена глагольность, то замена в них глагольного имени первой категории через глагольное имя второй категории, или вообще через имя с чисто-субстантивным значением, по крайней мере, эту специфическую порочность „недоумерщвленной глагольности“ должна устранять. Перехожу к иллюстрациям, но должен предупредить, что их подлинный смысл можно усвоить лишь при двух условиях: во первых, следует обращать внимание не на общее совершенство фразы, возникающей в результате замены одной категории имен через другую,—ведь по существу всякая такая замена есть лишь эксперимент, и здесь возможны чисто-лексические недочеты,—а на устранение, именно, той порочности, которая составляет тему нашего анализа; во вторых не следует думать, что этого рода „эксперименты“ при-

водят к изменению смысла, когда на деле меняется лишь способ постижения этого смысла, т. е. внутренняя форма,— а это, по понятным причинам, неизбежно при всякой интерпретации, переложении, пересказе, переводе и т. д. Предупрежу еще, что в большинстве случаев нижеследующие примеры,—как в их первоначальном виде, так и в исправленном,—заимствуются мною из одного редакционного архива.

В связи с *перенесением* партийной конференции на 25 октября.	В связи с *отсрочкой* партийной конференции до 25 октября.
Посещение польского министра финансов американским послом.	*Визит* американского посла к польскому министру финансов.
Томсон отрицает, что *посещение* им Китая связано с официальной миссией.	Томсон отрицает, что его *поездка* в Китай связана с официальной миссией.
Соц.-демократы играют уже видную роль в *определении* правительственной политики.	Соц.-демократы играют уже видную роль в *выработке* правительственной политики.
Постановили потребовать *созвания* партконференции.	Постановили потребовать *созыва* партконференции.
Не принял радио вследствие *мешания*.	Не принял радио вследствие *помехи*.
Окончательное *нахождение* всех произведений Фета.	Окончательное *отыскание* всех произведений Фета.
Свыше 40 лиц, которые обвиняются в *состоянии агентами* кантонцев.	Свыше 40 лиц, которые обвиняются в *агентурной работе* для кантонцев.

Во всех этих случаях вовсе нет, таким образом, необходимости заменять глагольно-именную конструкцию собственно-глагольной [1]): достаточно лишь отыскать подходящее глагольное существительное без значения глагольности. Но замечательно, что все стилистические дефекты глагольно-именной конструкции тотчас же оживают, если мы ставим имя с уже устраненной глагольностью в такие синтаксические условия, в которых ему приходится хотя бы в самой малой степени брать на себя глагольные функции. О возвратном местоимении *себя*, которое сообщает глагольные функции управляющему им имени, я уже упоминал („распростирание себя"). Но вот пример уже не с отглагольным именем и не из копеечного листка, а из Льва Толстого: „Нет ли больших страстей? И при том, откуда такое множество каждый день прибавляется: то *обман себя*, то трусость". (История вчерашнего дня. Неизданные рассказы и пьесы, Париж, 1926, стр. 30.—Написано в 1851 г.). Ср. также: „Эти *поиски себя* самого"—и „эти

[1]) Разумеется, поскольку на это нет особых указаний в контексте, о чем см. в заключительной части статьи.

усилия—resp—старания, попытки и пр. *найти себя* самого". Это же относится к родительному объекта, играющему при некоторых глагольных именах, обычно знающих в качестве дополнения при себе лишь род. субъекта, ту же роль, какую прямое дополнение играет при соответствующих глаголах. Одно дело „приближение поезда", а другое дело „приближение к себе Пушкина". Попробуем, напр., сказать *любовь жены* в смысле род. объекта, и мы увидим, как субстантивное значение слова *любовь* окрашивается значением акта. То же в примере: „его *обожание ее*" (из М. Пруста в переводе Франковского, 1, 2), где необычное дополнение *ее* превращает нормальное слово *обожание* в какое то „смотрение" или „мешание" [1]). Наиболее широко, однако, распространены такие, так сказать, „рецидивы" глагольности в пассивных конструкциях типа—глагольное имя плюс творительный агента. Обычно при том это совмещается с неправильным род. объекта. Здесь отглагольные имена с забытой глагольностью, даже ставшие уже терминами, снова почти целиком утрачивают свою субстантивность, и конструкции эти стилистически совершенно невыносимы. К прежним примерам („посещения им Китая", „посещение министра послом") прибавлю несколько новых: „Что же касается до *посвящения Баратынским* стихотворных пьес Пушкину" (ст. М. Гофмана в сб. „Пушкин и его современники", вып. XVI, стр. 145)—„Мы с особым удовлетворением отмечаем *утверждение этим письмом* необходимость слышать и отображать переживаемую эпоху" („Вечерняя Москва", 3 июня 1927 г.)—„Но дело не в *незнании* фактов невинным официальным *любителем* индустрии" („Известия", 6 марта 1927 г., ср. то же отглагольное слово без всякого оттенка глагольности хотя бы в стихе Пушкина: „*Незнанья* жалкого вина")—„После чего следует *угощение хозяином* всех присутствующих" (Поэтика Веселовского, I, стр. 363).—Ведь поразительно, что в последнем хотя бы примере вовсе не нужно выбрасывать отглагольное слово для того, чтобы устранить стилистический дефект фразы, напр.: „после чего хозяин *ставит угощение* всем присутствующим". Разительный пример соединения такой пассивной конструкции с употреблением *себя* при отглагольном термине дает следующая фраза из В. Розанова, „Когда начальство ушло", стр. 24: „Я говорю, что в *названии Христом Себя* Сыном Человеческим выражается все христианство". Ср., наконец, такие же обороты с существительными не отглагольного происхождения: „Какие характерные и особенные для Тургенева слова! Как они свидетельствуют о *подъеме* души красотою!" (Гревс, Ист. одной любви, стр. 72). Или то же с твор. инструментальным: „*Восторги*" народом бого-

[1]) Функциональная близость этих род. объекта к прямому дополнению настолько велика, что мне, напр., как это м. б. и не покажется странным, стоило даже некоторых усилий сообразить, что это вовсе не вин. падеж. Дополнение в дательном падеже приглагольного характера оказывает на глагольные имена то же действие. Ср. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, в. I. § 417.

носцем" содержат в себе и косвенное осуждение других народностей" (ст. Э. Радлова в сб. *„Достоевский"*, под ред. Долинина, I, стр. 167; ср. на той же стр. ниже: *„преклонение* перед народом-богоносцем"). Ср. далее сходную фразу в примечаниях Шенрока к письмам Гоголя. т. I, стр. 149: *„Восторги* вечным городом помогают ему перенести убийственную весть о кончине Пушкина".

Но вернемся к основной теме. Все вышеперечисленные примеры замены глагольного слова с живой глагольностью через глагольное слово с устраненной глагольностью, разумеется, не имеют целью утверждать, будто такая замена всегда возможна и необходима. Наоборот, есть случаи, когда она несомненно невозможна. В иных случаях трудно бывает подыскать соответствующее слово второй категории [1]), в других—вместо глагольного слова, пусть даже с устраненной глагольностью, необходимо должен стоять именно глагол, потребность в котором вызывается контекстом и конкретными стилистическими условиями речи. Все эти условия, в зависимости от которых только и становится вообще законной та или иная конструкция, требуют своего особого и тщательного изучения. О характере этого изучения я и хочу сказать теперь несколько слов. Но для этого мне была нужна та предварительная работа, результаты которой изложены выше.

IV

Наш вопрос должен быть формулирован следующим образом: если в языке в известных случаях наблюдается стремление освободиться от семантического груза глагольности, то какие стилистические условия порождают и поддерживают это стремление? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим прежде всего внимание на некоторые центральные и основные семантические качества всякой глагольности. Одним из таких качеств глагола как семантической категории является его повествовательная функция. Глагол не только предицирует, т. е. раскрывает конкретный смысл сообщаемого, но еще непременно и рассказывает, т. е. как бы показывает слушателю, как совершается самый процесс того действия, о котором идет речь в сообщении. Именно поэтому повествовательная речь и является наиболее элементарным и с точки зрения конструкции наиболее прозрачным типом стилистического задания. Но как всякому известно, речь знает много таких ситуаций, где как раз эта повествовательная функция предиката разрушает стилистическое задание. Простейший случай этого рода—заглавие, назначение которого заключается не в том, чтобы рассказать о событии, а только в том, чтобы

[1]) Ср. любопытные случаи ложного решения проблемы: „Мы послужили материалом для *сводки* личных счетов" (из частного письма), или: *„Грабеж* трудящихся в пользу монархов", разумеется вместо *ограбление* и пр.

указать на событие и его обозначить. В сущности, с такой обозначающей ролью предикативного слова мы встречаемся повсеместно, — всюду, где соответствующее событие выступает не в качестве основного сюжета, а в роли какого либо сопровождающего или побочного обстоятельства, как факт, известный уже из предыдущего, как предикат, являющийся субъектом нового суждения и т. п. Напр. в нашей иллюстрации: „Томсон отрицает, что посещение им Китая связано с официальной миссией"—отглагольное имя *посещение* явно не может быть заменено полной глагольной конструкцией, так как то обстоятельство, что Томсон едет в Китай—здесь предмет нового сюжета и рассказа: что же до первого сюжета, т. е. самой *поездки*, то ее только и остается обозначить соответствующим именем. Ср. с другой стороны такую фразу: „Ермолай дремал, *сидя* возле меня, и клевал носом". С точки зрения повествовательного задания это деепричастие никак не может быть заменено полной глагольной формой, напр.: „Ермолай дремал, *сидел* возле меня, и клевал носом", или так: „Ермолай дремал—он *сидел* возле меня—и клевал носом", или даже так: „Ермолай *сидел* возле меня, дремал и клевал носом". Коммуникативное назначение глаголов *дремал* и *сидел*, с точки зрения повествовательного задания, руководившего здесь Тургеневым, очевидно совсем разное, даже в последнем, наиболее „нормальном" варианте. В противовес повествовательной функции предиката, мы наблюдаем здесь как бы функцию демонстративную, часто близкую к простой номинации. Эта близость особенно сильна именно в заглавиях, которые не случайно являются, можно сказать, канонически безглагольным речевым жанром. Вот напр. заглавия 14-ти глав *Капитанской Дочки*. 1. Сержант гвардии. 2. Вожатый. 3. Крепость. 4. Поединок. 5. Любовь. 6. Пугачевщина. 7. Приступ. 8. Незваный гость. 9. Разлука. 10. Осада города. 11. Мятежная слобода. 12. Сирота. 13. Арест. 14. Суд.—Иными словами, ни одного глагола, но несколько отглагольных имен (разлука, приступ, осада и пр.). Разумеется, что недостаточно еще отодвинуть от себя все глаголы, чтобы выбрать правильное заглавие; здесь необходимо еще и то элементарное знание языка, которое позволило Пушкину написать *Разлука* и *Осада*, а не *Разлучение* и *Осаждение*,—но ведь об этом и идет у нас все время речь [1]). Для сравнения я привлеку заглавия писателя, поэтика которого существенно разнится от пушкинской. В *Братьях Карамазовых* из 12 заглавий, которыми снабжены отдельные книги романа (напомню, что их по три в каждой из четырех частей), мы также не найдем ни одного глагольного

[1]) Ср. слово *разлука* у Пушкина и там, где по смыслу нужно было бы именно *разлучение* или что либо в этом роде:

Томленья страшного *разлуки*
Мой стон молил не прерывать.

заглавия. Но если присчитать также заглавия всех отдельных глав, то из 95 заглавий в 14 мы встретим и глаголы. Не трудно однако убедиться, что за самыми незначительными исключениями глаголы в этих заглавиях не просто повествуют и рассказывают, а выполняют совсем особую функцию, которую можно было бы назвать рекламной, если б только одиозность термина не требовала здесь эвфемизма. Этим обозначением я хочу сказать, что задание заголовков Достоевского—не просто указать на событие и назвать его, но еще и разрешить проблему внешней занимательности, увлечь читателя, заинтриговать заманчивой сюжетностью и т. п. Так, следя за сложным психологическим рисунком первого опроса Мити в Мокром и переживая вместе с ним все эти хождения души по мытарствам, читатель с громадным нервным напряжением должен воспринять заголовок: *Прокурор поймал Митю* (IX,6), разделяющий одно мытарство от другого. У читателя дух захватывает, когда изложение судебных прений в последней части романа прерывается вдруг заголовком: *Счастье улыбается Мите* (XII,4). Интересны в этом отношении и те особые внешние средства, которыми пользуется Достоевский для достижения этих особых целей. Тут мы находим, во первых, бесподлежащные построения, маскирующие сюжетного субъекта—*Первого сына спровадил* (I,2), *Приехали в монастырь* (II,1), *Связался со школьниками* (IV,3); далее—безличные и близкие к ним неопределенно-личные обороты — *Денег не было. Грабежа не было* (XII,11), *Да и убийства не было* (XII,22), *Увезли Митю* (IX,9), *Освистали* (IX,7); затем—пословичные схемы—*Мужики за себя постояли* (XII,14), вопросительные конструкции—*Зачем живет такой человек?* (II,6) и т. д. Разумеется, что такое построение заголовков у Достоевского стоит в самой тесной связи с жанровыми особенностями его романической композиции и не находится в противоречии с основной, так сказать „природной" тенденцией заглавия, как типа речи, к безглагольности.

Таким образом, подлинное устранение стилистических дефектов глагольно-именной конструкции возможно лишь после того, как мы можем дать себе точный отчет—в том ли в данной фразе ошибка, что глагольность в ней еще присутствует, или в том, что она уже поколеблена. В первом случае, как напр. в заглавиях, следует итти дальше по пути субстантивирования и заменить глагольное слово с живой глагольностью через имя с устраненной глагольностью. Во втором—напр. в повествовании—глагольно-именная конструкция должна уступить место собственно-глагольной. В качестве нового примера безглагольных стилистических заданий я могу сослаться при этом на данные научной речи. Здесь даже крайние формы нагромождения отглагольных существительных не чинят препятствий пониманию и действуют вполне безболезненно на наше стилистическое восприятие,—разумеется только в тех пределах, в каких эти глагольные имена участвуют в самом процессе терминирования речи и не

выходят за рамки этой специфической тенденции научного языка как такового. Вот напр. фраза из одной русской статьи по эстетике: „Процессы *подражания* и *торможения* тесно примыкают к *узнаванию,* поскольку *отображение* жизни художником всегда в известной мере связано с процессом *преображения*". Конечно, понять эту фразу можно только в контексте, т. е. когда знаешь, какое содержание вкладывает автор в эти свои термины. Но стилистическая погрешность здесь только одна: „отображение жизни *художником*", вместо чего конечно нужно было бы: „у художника". Бесспорно также, что все это можно было бы рассказать и иначе, напр. (в развернутом контексте): „Процессы, в ходе которых воспринимающий искусство *подражает* герою или *тормозит* отрицательные поступки героев, тесно примыкают к тому процессу, в котором воспринимающий *узнает* себя в типе" и т. д. Не знаю, на много ли это понятнее, но научная задача, стоявшая перед автором, в такой „антитерминологической" форме осталась бы несомненно не разрешена. Чтобы правильно понять все эти разграничения, нужно однако постоянно иметь в виду их абсолютно конкретный характер. Различаемые мною отдельные функции глагольного имени в пределах разных речевых жанров меньше всего похожи на оторванные друг от друга абстрактные деления и перегородки. Так, напр., заглавная или терминологическая функция предиката живет вовсе не только в заглавиях и в научных трактатах. Функции эти, не будучи определяющими для жанра, могут участвовать и в повествовательной речи, напр., откуда следует, что и повествовательная речь, эта, казалось бы, наиболее „глагольная" из речевых разновидностей, вовсе еще не является непроницаемой для глагольных имен заглавного или терминологического типа. Вот первый попавшийся на глаза пример из буквально „наудачу" раскрытого Лермонтова. „Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое, пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было (следует название—заглавие чувства) *зависть*" [1]).

То стилистическое обособление, в котором оказываются иные из этих терминов или номинативных речений, создает в результате так наз. лингвистические клише. Как определяет Балли (Traité de stylistique française, I, § 99), это — locutions toutes faites, т. е. как бы заготовленные раз навсегда речевые штампы с окончательно-сложившимся, окаменевшим синтаксическим построением. Балли совершенно справедливо указывает, что речь, пользующаяся этими штампами de bonne foi, т. е. с полным доверием к их словарному значению и минуя их конвенциональное назначение, есть признак культурного провинциализма, того, что он называет demi-culture. Это не значит еще, однако, что штампы лишены своей особой положительной роли в стилистике. Оставляя в сто-

[1]) Опять таки разумеется не *завидование,* как м. б. сказал бы творец *прислушивания* и пр.

роне сейчас газетную речь, где объективная стилистическая роль штампа осложняется еще его чисто-техническим назначением [1]), обратим здесь внимание только на те широко распространенные привычные обороты речи, формулы, закрепленные элементы фразеологии, поговорки, лозунги, крылатые слова и пр., и пр., которые всегда несут на себе следы своего, так сказать, стилистического происхождения, т. е. окрашивают обозначаемое ими содержание специфической атмосферой той конкретной социально-бытовой обстановки, за которой их закрепило традиционное словоупотребление. Как раз на примере клише особенно отчетлива и наглядна громадная роль, которая принадлежит в стилистике всем этим экспрессивным и эмоциальным оттенкам и нюансам речи. Невыносимы, разумеется, „сверх-клише", насквозь проштампованный язык какой либо канцелярской бумаги, где штампуется вовсе не то, что нужно, но все же и эти утрированные случаи находят себе, по крайней мере, естественное объяснение в потребности „выдержать стиль" [2]). Немыслимы канцелярские обороты за обеденным столом,—но „начальство" со своей точки зрения вполне резонно находит иной раз „неуместными" обиходные выражения в казенном отношении. Когда судья пользуется формулой: „Суд признал, что иск Иванова к Петрову подлежит удовлетворению", то два глагольных слова возникли здесь не потому, что люди „стыдятся говорить просто" [3]), а только потому, что такова традиция, черпающая свои силы в некоторых основных законах всякой социальной жизни, каждая сфера которой создает для себя особые и специфические средства выражения. В предложении: „До сих пор правительство не считало необходимым *преследовать* Кука", редактор поправил: „не считало необходимым *возбудить преследование* против Кука",— и поступил, на мой взгляд, совершенно правильно. В первом варианте исчезал полицейско-судебный нюанс репрессалии, который с точки зрения задания этой фразы необходимо было сохра-

---

[1]) Так, тот же Балли замечает, что если б не множество газетных клише, то нельзя было бы писать в газете „быстро и правильно".

[2]) Вот образчики этого канцелярского „сверхстиля" в отношении интересующих нас глагольно-именных конструкций: „Признать, что *дача* поручений адм.-техническим сотрудникам, требующих *нахождения* сотрудников в служебное время вне стен учреждения, может производиться лишь..." и т. д. „В целях *избежания разбития* стекол от неумелого *поднятия* и *опускания* рам *пассажирами* в вагоне, за *поднятием* и *опусканием* там надлежит обращаться к проводнику вагона" (последний пример любезно сообщен мне Б. В. Томашевским).

[3]) Я не хочу этим отрицать потенциальной законности подобной укоряющей платформы в соответствующих социально-культурных условиях: устарелость форм судопроизводства, оторванность старой судебной системы от потребностей обновляющейся жизни, все это может сообщить специфическим особенностям судейского словоупотребления отрицательные экспрессивные качества. Но и в этом случае „простота" судейского языка противопоставляется устаревшей „канцелярщине" и „непонятности для простого народа" не сама по себе, а именно по этому признаку противопоставления, как особый стиль простоты, близкой к жизни, характеризуемой отсутствием в нем изолирующих качеств и пр.

нить. Точно так же незаменимы на своем месте все эти расхожие штампы, вроде „придти к соглашению“, „придти к убеждению“, „во избежание“, „налагать взыскание“ и т. п. Все дело лишь в том, чтобы эти штампы действительно стояли там, где нужно, чтобы приятельская беседа не велась в штампах терминологических, а в научном сочинении—не фигурировали штампы застольной болтовни.

Чтобы уравновесить свое изложение, мне остается теперь упомянуть еще о таких стилистических положениях, которые противодействуют устранению глагольности, и притом не только отрицательно, т. е. в силу отсутствия побудительных причин к ее устранению, но и положительно, в силу особых для данной ситуации объективных внутренних оснований. Эти стилистические условия можно иллюстрировать на некоторых типах устной речи, прежде всего—на речи ораторской. Под ораторской речью я понимаю не всякую монологическую устную речь, а только такую, которая имеет специальное задание побудить аудиторию к какому либо действию или внушить ей какую либо систему идей и представлений. Это речь, в которой „жалобы, мольбы, угрозы“ и т. п. участвуют, по меткому определению Г. Г. Шпета, в самой аргументации [1]). Речь здесь идет разумеется только об основной и доминирующей тенденции ораторского слова, потому что элементы ораторского задания можно вскрыть и во многих других речевых жанрах. Так и лектор, напр. преподающий аудитории какую либо новую научную теорию, естественно заинтересован в том, чтобы убедить слушателей в истинности или ложности ее. Но не это задание является для лекторской речи основным: первично она все же имеет целью лишь сообщить те или иные факты в их внутреннем содержании и вскрыть логическую связь между ними. Как раз обратное соотношение видим мы в речи оратора. И он тоже сообщает факты и излагает отношения, но он пользуется ими только в той мере, в какой ему нужно доказать их истинность или ложность. Эти то реторические по преимуществу задания ораторской речи и препятствуют существенно устранению глагольности, поскольку глагол есть категория конкретного действия и может быть противопоставлен в этом отношении всегда возникающим из абстракции глагольным именам. Какое нибудь „давайте объединимся“ вместо обычного на письме „необходимо объединение“, если с этим сопоставить бесчисленные лишние глаголы, попадающиеся без всякой логической надобности в ораторской речи, типа: „но вот он приходит и говорит“ и т. п., показывает в чем здесь дело. Устранение глагольности, поскольку не имеется в виду термин или иной не специфически-ораторский элемент речи, никогда не проходит

[1]) См. его книгу: „Внутренняя форма слова“, М., 1927, стр. 156.—Сфера реторики понимается здесь, впрочем, гораздо более широко и наряду с ораторским словом, напр., включает даже литературную критику, что на мой взгляд чрезвычайно спорно.

даром для оратора. В этом случае ему приходится восполнять реторический эффект иными средствами. Такова напр. природа эмфатического нагромождения отглагольных слов в соединении с повторяющимися эпитетами в следующем отрывке: „Наша промышленность вступила в такую фазу развития, когда серьезный рост производительности труда и систематическое снижение себестоимости промышленной продукции становится невозможным без *применения новой, лучшей* техники, без *применения новой, лучшей* организации труда" и т. д. Сходное явление мы наблюдаем в таком анафорическом построении, извлекаемом здесь из одного ораторского пассажа: „Мы имеем... *расширение,* мы имеем... *проведение*, мы имеем... *осуществление*" и т. д. Убеждают не термином, — все равно научным или канцелярским, — а только живым примером. Более того, нужно бывает раскрыть потенциальную глагольность самого термина для того, чтобы внушить аудитории соответствующее содержание. Что такое *подражание?* Ответ: это когда кто либо *подражает.* Что такое *преображение?* Когда что либо *преображается* и т. д. (обратный процесс происходит при терминировании). Таков элементарный смысл ораторского задания. Какое либо *отстаивание* или *нахождение* немыслимы в ораторской речи не только потому, что глагольность здесь не убита до конца и в то же время ущерблена, но кроме того еще и потому, что конкретный живой образец подменяется в ней идеологической абстракцией. Разумеется и в письменной речи с отвращением читаешь: „Так что здесь налицо *развязывание* революционных сил при неизбежном *подтягивании* крестьянства к революции", но здесь можно подыскать хоть видимость оправдания в том, что неопытный писатель не разобрался,—повествовательная перед ним задача, или же задача каталога, регистрации и перечня фактов. Но уже совсем невыносима такая фраза в устах популярного оратора: тут уже утрачено всякое представление о задачах живого ораторского слова.

Ноябрь 1927 г.

От редакции. Во избежание недоразумений следует отметить, что не со всеми деталями статьи, особенно в области стилистических оценок редакция согласна, хотя и вполне разделяет основные выводы автора.

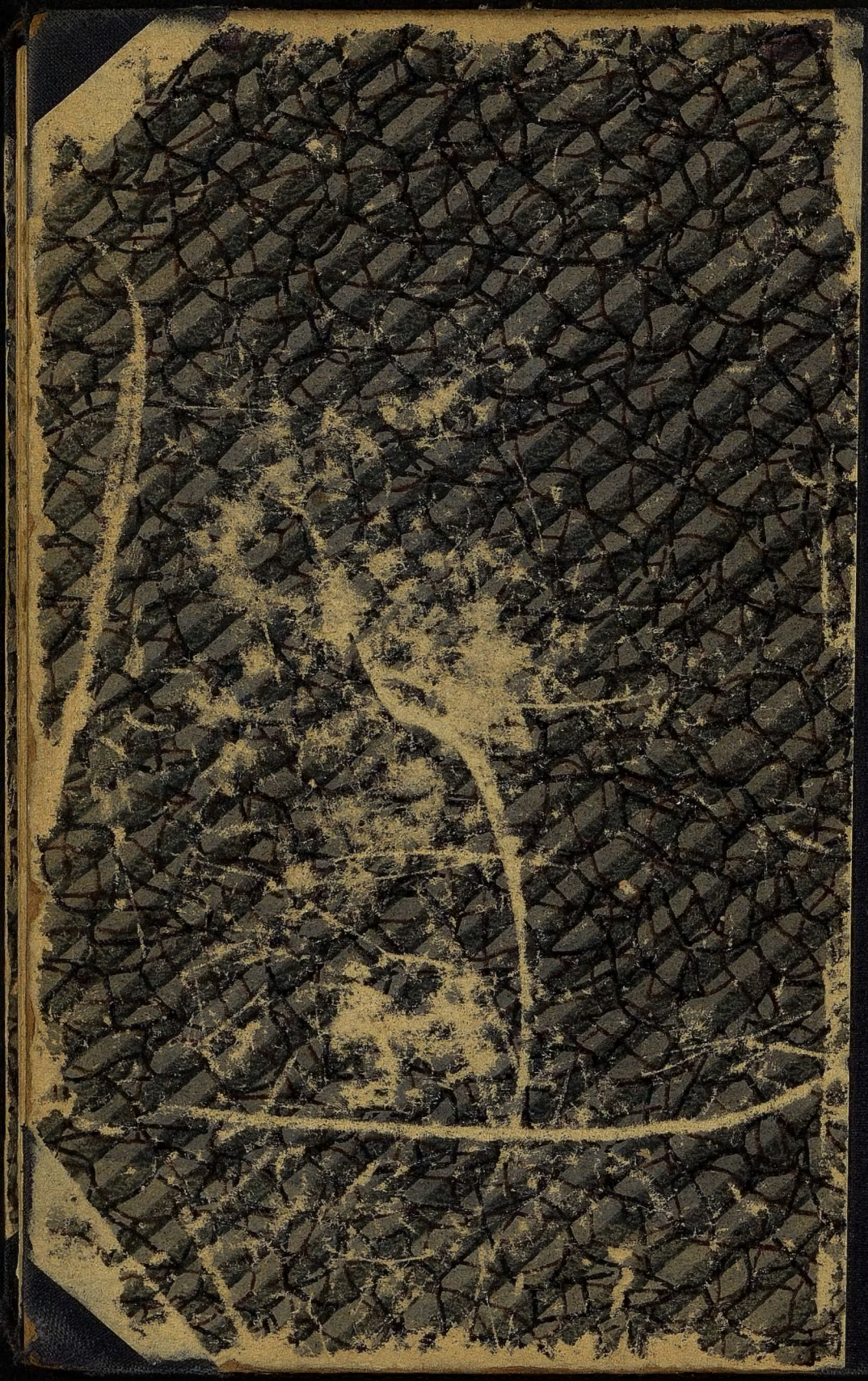
ПОПРАВКА К СТАТЬЕ Л. В. ЩЕРБЫ: О ЧАСТЯХ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ[1])

(Русская речь, сборник 2-ой новой серии)

Уже при самом выходе второго сборника друзья мои указали мне на невозможность относить вопросительную категорию в число знаменательных. Это совершенно верно, и я спешу исправить недоразумение. Но, конечно, это и не служебная категория, а какая то особая. Может быть „модальная"? Отмечу, что в нее входит и вопросительная частица *ли*.

Л. Щ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

27

[1]) Считаю своим долгом отметить, что некоторые идеи этой статьи послужили темой лекции, прочитанной мною летом 1927 в Сорбонне по приглашению Французского комитета научных сношений с Россией, которому и приношу здесь свою благодарность.